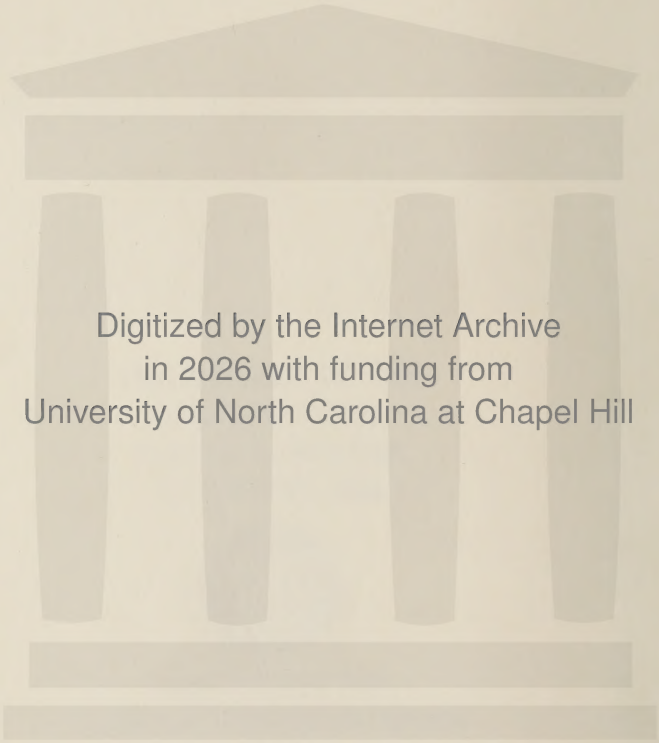
ND699
P264
Å3
1920z

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

ND699
.P264
A3
1920z

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00008184412

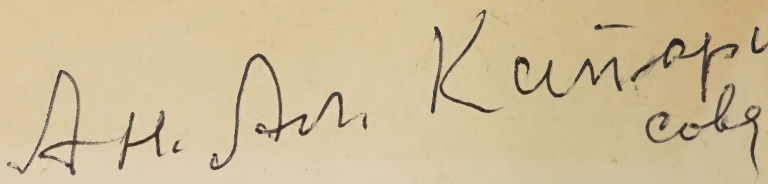

Digitized by the Internet Archive
in 2026 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/otomchtobylovosp00park

И. К. Пархоменко

О ТОМ, ЧТО БЫЛО

МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ



Ан. Ал. Кипари
совр

Ив. Макаров

И. К. ПАРХОМЕНКО

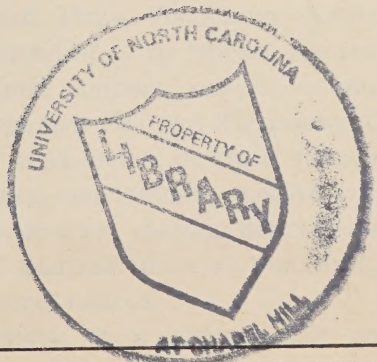
ee
c
ND699
.P264
A3
1920z

О ТОМ, ЧТО БЫЛО

ВОСПОМИНАНИЯ

O TOM, CHTO BYLO

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
PROPERTY OF
LIBRARY
AT CHAPEL HILL



МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ

Главлит № 88056 (2948). Заказ № 2271. – 4000.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ДОМА И ИЗ ДОМУ.

Мы жили в многолюдном местечке, где имели свой небольшой деревянный дом с садом и огородом, но это нам почти ничего не давало, и отцу, чтобы как-нибудь содержать из года в год увеличивавшуюся семью, приходилось служить.

Восьми лет я начал ходить в училище. Учителя этого училища водили с нами знакомство и некоторые из них у нас бывали. Все они глубоко запали в мою память и сохранились в ней до сих пор, в особенности учитель второй группы первого класса — милый Илья Иванович Александровский и заведывавший в то время училищем учитель первой группы первого класса — постоянно сердитый и суровый Леонид Петрович Стефановский. Первый учил меня, помимо того, что полагалось в училище, рисованию, к которому я с самого раннего возраста пылал неиссякаемой любовью, а второй... выгнал меня из училища, из первой группы второго класса.

Не знаю, может-быть, я и заслуживал тогда этого изгнания, так как иногда позволял себе не-

допустимые в моем возрасте и положении вещи, например: острил в присутствии заведующего, делал в классе во время перемен пиротехнические опыты — жег серу, камфору, и т. д. Но думаю, что при некоторой снисходительности можно бы было и пощадить меня, тем более, что я и учился не хуже других. Вероятно, в этом не малую роль сыграло то, что мой отец тогда был со Стефановским в некоторой вражде, ибо вслед за мной была исключена из училища и моя младшая сестренка — девочка в высшей степени скромная, понятливая и прилежная.

Наклонность к рисованию проявилась у меня очень рано: к четырем-пяти годам я уже рисовал и бегущих лошадок с молодцевато сидящими на них всадниками, и марширующих солдат, и даже чертиков с рожками. В этот период мой художественный пыл принял такие размеры, что от меня стали прятать положительно все, чем и на чем можно было рисовать: бумагу, карандаши, чернила.

Как раз в это время отец мой служил в волостном правлении заседателем. Принес он как-то раз из правления какую-то важную, на три четверти исписанную бумагу, положил ее на стол и, не заметив, что я смирнехонько стоял в уголку, вышел в другую комнату. Я мгновенно вспомнил, что за диваном, на подоконнике находится забытая чернильница. Не долго думая, в одну минуту

я вскарабкался на диван, достал чернильницу, вытащил из нее пробку, засунул в горлышко пальчик и спешно несколькими штрихами намазал на неисписанной стороне бумаги своего любимого чортика. Я тогда не знал, что эта бумага была из губернского правления и что ее, по заполнении нужными сведениями, требовалось немедленно отослать обратно, но, должно-быть, инстинктивно это почувствовал, так как сейчас же виновато полез под диван и замер там. Читателю, конечно, любопытно знать, что было потом. Что же могло быть потом? Минут через десять вернулся отец, подошел к столу, взглянул на свою бумагу и... не то подавил стон, не то хотел что-то сказать... протянул под диван руку, вытащил меня за ухо...

* * *

До изгнания из училища я нередко забегал в иконостасную мастерскую славившегося у нас живописца Дмитрия Захарьевича Молярова, (которого у нас все называли Захаревичем) и любовался у него работами настоящих художников. Дело в том, что старший брат Заха́ревича учился когда-то в академии художеств и имел оттуда много своих и чужих картин, этюдов, рисунков и прекрасных копий с Рембрандта, Веласкеза и других великих мастеров. Получив на конкурсе золотую медаль, он готовился за границу, но чем-то внезапно заболел и умер, оставив все свои картины и этюды брату.

После того, как Стефановский распорядился моей судьбой в училище, я сделался учеником Захáревича. У него и кроме меня были ученики, два-три мальчика из разных мест, шустрые и веселые ребята, изобретатели всевозможных шалостей и проделок, за которые иногда приходилось расплачиваться и мне. Главное мое учение у Захáревича заключалось в том, что я с утра до вечера растирал увесистым курантом на большущем камне масляные краски, при чем их нужно было растирать так тонко, чтобы, когда взять немного краски на ноготь и провести по нем пальцем, не чувствовалось бы под пальцем ни малейшей шероховатости; одним словом, «пока чесноком не запахнет», шутя, говорили мне старшие. А когда не растирал красок, превращал в мельчайшую пыль аховым толкачем в громаднейшей ступе куски плавленого мела, просеивал этот мел сквозь густое проволочное сито, смешивал с клеем, который сам же варил, и делал левкас [1]), затем грунтовал им иконостасные штуки и резьбу и, когда они высыхали, шлифовал их пемзой и чистил хвощем. Тер также масляную шпаклевку и шпаклевал ею доски для икон, гульфабрил для позолоты охрой на вареном масле рамы и на иконах венчики вокруг подмалеваных голов; по вечерам, когда кончались работы, чистил палитры и кисти работавшим у Захáревича живописцам, которых у него всегда бывало чело-

[1]) Грунт.

века три-четыре, сам он пятый. Нередко я бегал на базар за покупками, помогал прислуге и дочерям Захáревича по хозяйству. Иногда пилил и колол с другими мальчиками дрова. Но маловато рисовал, а еще меньше писал красками: за все время моего учения у Захáревича я подмалевал не больше пяти-шести Николаев-чудотворцев и такое же количество Казанских богоматерей.

Под конец, однако, в одно весеннее утро, заночевав как-то под праздник дома и, размечтавшись о том, что хорошо бы учиться не у Захáревича, который писал только иконы, а у какого-нибудь художника, вроде, например, знаменитого Греза, о котором я много слышал и читал и которого любил за то, что он изумительно хорошо писал женские и детские головки, я решил вдруг покинуть свой дом, не возвращаться больше к Захáревичу и отправиться куда-нибудь в далекую страну искать такого Греза. В доме еще все спали, когда я, решив это, выбрался через окно в сад, из сада в рощу, из рощи на большую дорогу, по ней дошел до столбовой и примкнул там к направлявшейся в Киев группе богомольцев.

— Ты это куда? — спросили они меня с любопытством.

— В Киев, — ответил я без запинки и тут же выдумал: — домой иду... от родственников.

— Как же они такого маленького пустили одного в такую даль... да еще и без ничего?— удивило их.

Пришлось, конечно, сочинить, будто бы у мнимых родственников мне было плохо, и я от них ушел тайком.

— А который тебе годик?

— Двенадцатый.

— Маловато.

Один из богомольцев, весь белый, высокий старик с добродушно нахмуренными бровями взял меня под свое покровительство и все время, пока я был с ними, делился со мной своей скудной провизией.

В первый вечер мы заночевали в какой-то еврейской корчме, улегшись всей компанией на разостланной на полу соломе. Корчма была просторная и места в ней хватало всем, несмотря на то, что нас было в ней человек двадцать. Я лег рядом со своим стариком. И сладко мне было протянуть усталые ноги, а еще слаще — размечтаться о совершенном побеге, о том, как я достигну Киева, а оттуда, может-быть, проберусь в Италию и найду там какого-нибудь Грезя, хотя я знал, что настоящего Греза давным-давно не было в живых и что он, будучи французом, ничего общего с Италией не имел. Но мне хотелось, чтобы было так, как я думал, а не так, как было в действительности.

Несмотря, однако, на мои мечтания, я обратил внимание и на интересную действительность: недалеко от меня, у завешанного окна, опершись обнаженными локтями на столик, сидела над книгой

молоденькая еврейская девушка; ее освещала керосиновая лампа. Красивая ее головка всем своим вниманием была устремлена в книгу, но когда девушка ее подняла и сверкнула своими большими черными глазами, от меня мгновенно отлетели все мои мечтания, и я упился действительностью. Мне казалось,—я впервые вижу такую красоту и впервые испытываю такое очарование. От скользнувшего по мне ее взора, я весь затрепетал и сладостно замер.

В это время за перегородкой кто-то взрослый сказал ей по-еврейски несколько слов.

Девушка поднялась и сейчас же направилась к нам.

— Давай за ночлег, — обратилась она к крайнему.

— Сколько?—пробормотал тот.

— Адна капэйка.

Крайний порылся в карманах и дал ей копейку. То же сделал и следующий. Дошла очередь до меня. Но у меня не было копеек. Я закрыл глаза.

Девушка толкнула меня ногой.

— Давай капэйка, — пробежал по мне ее милый голосок.

И так как я на это ничего не ответил, она опять меня толкнула.

— Слухай... капэйка.

Но вмешался мой старик.

— Не тревожь его. Я за него дам.

И дал ей две копейки — за себя и за меня.

Утром, когда мы уходили, я еще раз увидел ее через полуоткрытую дверь перегородки, за которой она, вся раскинувшись, покоилась на кровати.

Вторую ночь мы спали на открытом воздухе, возле какого-то гумна. Было приятно, бодро... Третью — у кого-то в просторной хате.

Шли оживленно, можно сказать — весело, много пели, хотя только одно духовное. Некоторые, кто знал Киев, рассказывали о Киево-Печерской лавре, о дальних и ближних пещерах, о схимнике Ионе, творившем чудеса и о многом другом.

Кормиться присаживались то где-нибудь среди поля у криницы с холодной ключевой водой, то в селении, недалеко от колодца, чтобы после еды близко было воды попить, то заходили к кому-нибудь во двор.

Но на шестой или седьмой день, я заколебался и решил вернуться домой. Я вдруг ясно себе представил, что́ происходило дома после моего ухода, ка́к обеспокоилась моя мать, как она меня искала, звала... и растрогался; вытер рукавом показавшиеся слезы,.. незаметно отстал, свернул в кусты— и был таков.

Домой шел, конечно, дольше, потому что шел один, с частыми и более продолжительными остановками. Кормился хорошо, так как отдыхать заходил в хаты, а там добрые люди, видя, что у меня

ничего с собой нет, догадывались предложить мне то молока с краюхой хлеба или гречневой кашей, то борща со сметаной и куском мяса, то яичницы с салом. Не повезло мне лишь в последний день: стало выходить как-то так, что куда ни зайдешь, везде или старших нет, или нечего предложить,— посидишь, помнешься немного, выпьешь воды и голодный идешь дальше.

Проходя мимо корчмы, в которой я замирал от конфуза, что у меня не было копейки, я с любовью смотрел в ее окна, но внутрь зайти не решился.

Домой я пришел в праздничный день, то-есть— не домой, а в рощу, которая была недалеко от нашего дома. И скоро увидел в ней группу девочек и среди них свою сестренку, которая, узнав меня, вместо того, чтобы сейчас же подойти ко мне, помчалась домой. Не прошло, может-быть, и десяти, самое большее пятнадцати минут, хотя они мне показались бесконечными, как вдали появилась спешившая ко мне матушка. Доброе, ласковое лицо ее светилось плохо скрываемой радостью, а в руках она держала завернутые в бумагу пирожки.

Лишне говорить, с каким удовольствием я их ел и как трогательно целовал мокрые от моих слез руки матери.

Встреча с отцом последовала в ином роде, но о ней распространяться не стоит. Отцы обыкновенно освещают и оценивают деяния своих детищ не так, как матери — эти всепрощающие и снисхо-

дительные существа; отцы иногда впадают в излишнюю жестокость.

* * *

События тех времен — 1-е марта в восемьдесят первом году, воцарение Александра Третьего, коронационные торжества очень волновали и будоражили взрослых, клали свой отпечаток на их настроения и так или иначе отражались на образе их действий; но в нас, детях, они оставляли, я помню, впечатление только поверхностное. Нас больше занимали описания, как ярко во время коронационных празднеств был освещен Кремль и как при этом освещении можно было ночью на далеком от него расстоянии читать газету,—электричество в Москве тогда только что вводилось. Меня лично еще интересовало, что новая царица любила искусство и сама им занималась. Это я крепко внедрил в свою голову.

Не желая больше оставаться в учении у Захáревича и не порывая с мечтами о Грезе, я вдруг решился написать новой царице письмо. Изложив в нем подробно свое положение, я просил ее взять меня в Петербург и поместить в академию художеств.

Ровно через месяц приехал к нам становой пристав.

— Кирилл Федорович, вы с сыном подали на высочайшее имя прошение... — огорошил он отца.

Отец побледнел.

— Какое прошение?

— Насчет определения сына в академию художеств.

— Какого определения?.. Что вы?!.. Я ничего не знаю.

Становой пристав показал бумагу. Писал уездный исправник, что губернатором, в ответ на прошение такого-то о том-то и о том-то получено из канцелярии ее величества распоряжение затребовать работы просителя.

— Вот до чего дошел этот сумасброд! — заломил отец в отчаянии руки. — Где он, такой-сякой? Я его...

Но меня дома не оказалось: я был со сверстниками в роще, и мы там, на ее окраине, на обширном пространстве сыпучих песков, усеянных кустами красной лозы, представляли себе Хиву и совершали на нее поход. Вернулся я оттуда только к ночи, когда становой пристав уже уехал, наказав отцу заставить меня скорее приготовить требуемые работы, и когда гнев отца был уже почти на исходе...

Дерзновенная эта моя затея, наделавшая в местечке немало шума, успехом, однако, не увенчалась: меня недели через четыре оповестили, что в виду моего малолетства и за отсутствием при столичных училищах живописи интернатов, куда бы я мог быть помещен, ходатайство мое не может быть удовлетворено.

Интересно, что когда в местечке узнали, что

я написал царице письмо и что она обратила на него внимание, все с восхищением говорили: «Ай, да Иванька... какой молодец!.. Чего доброго — на попечение императрицы попадет, большим человеком сделается!»—и при встрече приветливо мне улыбались. Но как только получился отрицательный ответ, все заговорили по-другому: «Ну, мыслимое ли дело, чтобы какому-то сморкачу открыли доступ к высокому положению! Довольно с него и Захáревича». И при встрече не улыбались, а окатывали меня смехом.

Вскоре после этого я писал у жившего неподалеку от нас помещика Гейбовича копию с довольно хорошей картины Сверчкова, изображавшей крестьян, везущих зимой на паре лошадей бочку сахару. Копия эта мне удалась настолько, что Гейбович, когда у него собрались в то время по случаю именин его жены гости, ввел их ко мне и показал им мою работу рядом с оригиналом.

— А ну-ка, узнайте, где тут копия и где оригинал.

Разумеется, узнать можно было сразу, но гости проявили ко мне любезность и сделали вид, что затрудняются, и засыпали оригинал и копию одинаковыми похвалами. В результате один из гостей, Сергей Алексеевич Сребдольский, талантливый ученик Чайковского, по должности — мировой судья, знавший лично известного художника профессора Ге, тут же, у Гейбовича, написал ему обо

мне письмо, в котором просил, если я обладаю «искрой божьего дара», принять во мне участие.

Ге жил не особенно далеко от нас, в нашей же губернии, и мне не составляло большого труда к нему поехать. Я это сделал очень скоро.

Чуть начиналось февральское утро, когда поезд курско-киевской дороги остановился на станции Плиски, и я с небольшим чемоданом в руках вышел из вагона.

Мне встретился старенький станционный служитель.

— Дедушка,—обратился я к нему,—далеко ли до имения профессора Ге?

— А вон оно,—указал старичек на горизонт.

Я увидел на бесконечной снежной равнине что-то вроде небольшой полоски рощицы или парка.

— Там церковь виднеется, что-ли? — не мог я хорошо разглядеть чуть выступавшую в этой полоске какую-то пирамидообразную фигуру.

— Какое там — церковь, — рассмеялся старичек.—То ветряк у Ивановки, что недоезжая хутора!

— А не знаете ли: профессор теперь дома?

— Нет, его нету: он сейчас гостит со всем семейством в Москве у графа Льва Николаевича Толстого, отдает ему визит.

У меня опустились руки.

— Но это ничего, малышок, — поспешил старик меня успокоить. — Он там уже давно, скоро вернется. В хуторе можно подождать.

У ПРОФЕССОРА ГЕ.

Наняв на станции чуть ли не за полтинник подводу, я минут через пятьдесят миновал Ивановку— деревушку дворов в десять, ветряк, пруд и в'ехал во двор хутора. Навстречу нам кинулись с неистовым лаем две лохматые собаки, но послышался чей-то звонкий окрик, и они, поджав хвосты, отошли прочь.

— До кого? — спросила низенькая и пухленькая, как пампушка, чернобровая молодичка. — До Миколая Миколаевича, чи до мого чоловика?

— К Николаю Николаевичу.

— Нема его дома. Як шо треба, ходить до мого чоловика, вин скаже.

Это была жена приказчика. А на дороге приказчичьей квартиры стоял и он сам. Я в кратких словах ему об'яснил, зачем приехал.

— Так ходить до хаты. Напьемось, поки шо, чаю, а тым часом и Миколаевна встануть.

— Николаевна? — Фантазия мгновенно нарисовала мне очаровательный образ молоденькой девушки. — Дочь Николая Николаевича?

— Та ни: у нёго дочòк нема. Тутечки живе одна така родственныця его жинки, старенька барышня, та ще трошки й горбата.

За чаем я узнал от приказчика и его жены, что у Ге, кроме родственницы, есть жена Анна Петровна и два взрослых сына Николай и Петр, и что у Петра тоже есть жена, Катерина Ивановна и недавно народившийся у них сын.

* * *

Часам к десяти, когда Николаевна встала и отпила чай, ей сказали обо мне. Узнав, в чем дело, она сейчас же меня приняла. Я вручил ей привезенное письмо, рассказал, как ехал и в заключение попросил показать мне работы Ге. Николаевна охотно повела меня по всем комнатам. Сначала она ввела меня в мастерскую, в которой я поразился прежде всего громадным окном чуть не во всю длину стены. Такого окна я раньше нигде не видел. Затем, я стал поражаться картинами так-же невиданных раньше размеров.

— Это вот «Вестники Воскресения», — указала Николаевна на самую большую из них. — Написана эта картина в шестьдесят шестом году, во Флоренции. Была прислана в Петербург на выставку, но цензура ее сняла.

На картине я увидел изображение рассвета. Гористая поверхность земли еще тонет в синеватых полутонах уходящей ночи, но первые светло-желтые лучи пылающего за горизонтом солнца,

поднявшись вверх и залив восток, кладут свой отблеск на все, что к ним обращено. По склону горы раскинуты силуэты деревьев, валяются камни, обломки крестов... Это — Голгофа. На первом плане три воина: два впереди, третий отстал; передние над ним подсмеиваются, а он, не обращая на них внимания, считает деньги — правильно ли дали ему его часть. На втором плане в центре картины порывистая, вся — неудержимое стремление, Мария Магдалина. Она только что была у гроба Христа и узнала, что Христос воскрес, и спешит об этом оповестить своих.

— А это — «Христос в Гефсиманском саду», написанный года через три после «Вестников».

Я перевел глаза на другое большое полотно, на котором был изображен сад в лунную ночь, с коленопреклоненной фигурой Христа на первом плане.

Рядом стояло на мольберте начатое «Распятие». И тут же я увидел большой деревянный крест. Николаевна сообщила, что на этом кресте позировал специально для этого приезжавший из Москвы натурщик. Картина местами уже была написана и поражала живостью красок, а местами только обозначена контурами. На ней было изображено мрачное небо, на фоне которого выделялась залитая косыми лучами яркого света распятая фигура Христа. По сторонам судорожно корчились привязанные к крестам разбойники. Внизу толпились люди, среди которых пестрели и воины, и мирные граждане Иерусалима, и постоянные

спутники Христа. А у самого подножия креста происходила отвратительная сцена дележа снятого с казненных одеяния. (Впоследствии Ге эту картину переписал).

Затем Николаевна обратила мое внимание на «Екатерину Вторую у гроба императрицы Елизаветы Петровны» и на портрет пишущего Толстого, удививший меня своеобразной рябоватой техникой.

Из мастерской мы перешли в столовую, довольно продолговатую комнату, на стенах которой тоже висели картины. На одной из них была изображена миловидная дама с двумя мальчиками. Я залюбовался ею.

— Это—Анна Петровна жена Николая Николаевича со своими детьми, написана больше двадцати лет тому назад за границей. А это...

Я оторвался и перевел глаза на другую картину:

— «Милосердие».

Заключалось оно в том, что нищему, босоногому человеку с обликом Христа, молодая, прилично одетая девушка несла кружку воды. (Через несколько лет на этой картине было написано «Что есть истина»).

— А это — сыновья Николая Николаевича: русый—старший, Николай, а черный младший, Петр.

На портретах, живо и сочно написанных, они были совсем разные люди, друг на друга не похожие, какими показались мне и в действительности, когда я их увидел.

— Теперь взгляните на этот бюст, — Николаевна подвела меня к изображению лысого старика, вроде апостола: — это голова Николая Николаевича, вылепленная братом его жены, известным скульптором Парменом Петровичем Забелло. А это — работа самого Николая Николевича.

Я увидел прекрасный бюст Белинского и две детские головки сыновей Ге.

Из столовой мы перешли еще в одну комнату, где по стенам висели разные портреты. Из рам смотрели живые лица: Герцен, позировавший Ге в конце шестидесятого года во Флоренции, Тургенев — весь седой, с томными глазами, Щедрин, Костомаров, Пыпин, Потехин, Некрасов... И, наконец, мы очутились в кабинете Николая Николаевича, который служил ему и спальней. Картин в нем не было; висел только на стене довольно большой и хорошо исполненный углем рисунок «Тайной вечери», давшей Ге в шестьдесят третьем году звание профессора, да смотрел с репинского портрета, помещенного над дверью в мастерскую, сам хозяин.

Накормив меня в заключение вкусными варениками,—это было на масляной,—Николаевна предложила мне поселиться до приезда Николая Николаевича в доме и отвела в мое пользование небольшую, тщательно выбеленную комнату. В ней не было ничего лишнего: стояли только—диван, стол и несколько стульев, да, вероятно кем-нибудь за-

бытая, на подоконнике лежала пачка рисовальных углей.

Я не помню, не знаю, как случилось, что я принялся воспроизводить ими на белой стене только что виденные картины и портреты. Остановился только тогда, когда уже больше полстены было зарисовано. В первую минуту меня бросило в холодный пот, как только я сообразил — что наделал. Что скажет Николаевна, когда увидит, и что скажет сам Ге, когда приедет? Стереть все это поскорее! Но во что тогда обратится стена, какой примет вид? Прямо—хоть забирай чемодан и убирайся во-свояси!

Стирать, конечно, я не стал и удирать не собрался,—остался ждать—что будет.

Но по мере того, как время шло, а шло оно страшно медленно, я терял аппетит, старался пореже встречаться с Николаевной, боялся, чтобы она как-нибудь не вздумала ко мне заглянуть. А она, как нарочно, то-и-дело допрашивала меня:

— Что с вами? Не больны ли вы? Не нужно ли с'ездить к доктору?

Тянулось это, вероятно, с неделю, пока, наконец, находившийся все время в томительном безмолвии дом не оживился громкими и радостными голосами.

Я был тогда в своей комнате. Нечего и говорить, что я впал в смятение от этого оживления

и не знал, куда мне деваться и что мне делать. Прошло, должно-быть, с полчаса... Вдруг—открылась дверь, и в нее вошел высокий, элегантный, в красивом черном сюртуке, повязанный большим черным галстуком, приветливо улыбающийся старик. Вошел, взглянул на стену... и остановился. И ни слова. Я так и замер. Молчание длилось, может-быть, с минуту или две. Но мне казалось, что это была целая вечность. Наконец, Ге подошел ко мне, и я почувствовал на себе его теплую руку, услышал его ласковый голос:

— Ты?

В ответ я только всхлипнул, схватил лежавшую на мне его руку и виновато прижался к ней губами. Ге наклонился и, взяв мою голову обеими руками, крепко меня поцеловал. Потом вышел и минуты через две вернулся с женой, Николаевной и невесткой.

— Вы только посмотрите, — говорил он им еще за дверью, — вы только взгляните, что он тут натворил.

Анна Петровна, Николаевна, Катерина Ивановна обводили глазами зарисованную стену и одобрительно улыбались.

«А что бы было,—думал я,—если бы Николаевна увидела это раньше? Воображаю, как бы мне от нее досталось!»

На следующий день, с десяти часов утра, началось мое ученье. Ге засадил меня рисовать. Помню,

как сейчас: передо мной стоял гипсовый бюст Аполлона, а я держал на коленях доску с бумагой и, полный внутренней радости, набрасывал углем контур. Ге сидел сбоку и руководил.

— Вот,—звучал его мягкий, вибрирующий баритон,—смотри и запоминай: лицо делится на три равные части: от волос до бровей одна часть, от бровей до конца носа—другая, и от конца носа до конца подбородка—третья. А тушевать,—он взял у меня уголь и стал тушевать, — надо вот так...

Я смотрел и запоминал.

Вручив мне затем уголь и сделав еще несколько нужных указаний, Ге вскоре уселся немного поодаль и принялся набрасывать на куске бумаги какой-то эскиз.

— У Толстого, — рассказывал он урывками о своем пребывании в Москве, — я нарисовал для его сочинения «Чем люди живы» несколько иллюстраций, — они скоро будут выпущены в свет. Ты читал это сочинение?

Я вспомнил, что читал его, когда еще ходил в училище.

— Нам учителя выписывали маленькие книжечки «Посредника», там были и Толстого: «Где любовь, там и бог», «Чем люди живы» и другие. А священник, преподававший у нас закон божий, толстовские книжки отбирал и уничтожал.

— А скажи, — повернулся вдруг Ге ко мне всем своим корпусом, — ты читать любишь?

— Люблю, — ответил я.

— Это хорошо. Люби читать и читай много. Художнику, ежели он не получил образования, нужно читать постоянно, чтобы знать то, что знает каждый образованный человек. Давай распределим время так: до обеда я буду учить тебя искусству, после обеда ты будешь читать, а вечером мы будем рисовать и рассуждать о прочитанном.

Часа в два нас позвали обедать. В столовой за длинным столом уже сидели Анна Петровна, Николаевна, Катерина Ивановна и белокурая девочка лет десяти — Параша, доч старшего сына Ге, от жившей на хуторе крестьянки. Сыновья отсутствовали: они оставались в Москве. Завязался разговор, в котором я был, конечно, только скромным слушателем, так как мне нечего было в него вставить и никто за все время обеда ни одним словом ко мне не обратился, хотя все, как я заметил, время от времени на меня поглядывали. Разговор все вращался около Толстых и, главным образом, около Льва Николаевича,— что он делал и что он говорил. Кончился обед в начале пятого.

После обеда я достал из своего чемодана привезенную из дому книгу Баранцевича и показал ее Ге, — стоит ли ее читать. Он посмотрел на название, пробежал на первой попавшейся странице несколько строк текста и пожал плечами.

— Вероятно, из новых, — молодой. — На обложке значилось «Под гнетом». — Название хорошее, и слог ничего. Прочитай. Потом будешь читать мои.

Так и пошло.

Дни бежали за днями. Прошло около месяца. Я нарисовал за это время несколько голов с гипса и живой натуры, много читал и говорил Ге о прочитанном, много выслушал его рассказов, как он учился в гимназии, затем в киевском и петербургском университетах, и, наконец, в академии художеств, как получил в ней за программную картину «Саул у аэндрской волшебницы» золотую медаль и как потом жил за границей, сначала в Риме, затем во Флоренции.

Иногда он раскрывал предо мною рукописи не напечатанных в России произведений Толстого и увлеченно читал их вслух, стараясь попутно втолковать мне их подлинный смысл. Одним словом, Ге обращался со мной как нельзя лучше—доброжелательно и заботливо. Но только он один. Остальные в доме не очень проявляли ко мне свое расположение; в особенности я резко почувствовал это, когда в хуторе появились сыновья Ге. Я даже поплакивал от них, — до того они были со мной нелюбезны. Причиной такого отношения ко мне со стороны людей, которым я ничего худого не сделал, были мне не ясны. Я и теперь, может-быть, сделаю ошибку, если предположу,

что я тогда, очевидно, был в доме, переживавшем большие материальные затруднения, лишним ртом, да еще вдобавок мало культурным.

Как бы то ни было, но это привело к тому, что Ге наконец мне сказал:

— Тебе трудно быть среди одних только взрослых, лучше будет, если ты поедешь в Киев и поступишь там в рисовальную школу, где у тебя будут и сверстники и товарищи, Я дам тебе туда письма: одно к офицеру Теплову, о котором я тебе говорил, что он хороший человек и любит искусство,—он сходит с тобой в рисовальную школу и попросит от моего имени Николая Ивановича Мурашко, чья школа, позволит тебе заниматься в ней бесплатно, а другое — к одной знатной даме, которая сможет дать тебе комнату и пропитание, а ты будешь ей за это чем-нибудь услуживать.

Поверив Ге, что так лучше (хотя, что изменилось бы, если бы я и не поверил: все равно пришлось бы уехать), я взял от него письма, евангелие с его надписью, положил их в свой чемодан и рано утром, когда в доме еще все спали, поехал на вокзал.

До поезда, которым я должен был отправиться в Киев, оставалось, когда я приехал на вокзал, больше часа; через несколько минут шел поезд из Киева, тот, которым я, если бы захотел, мог бы вернуться домой. Не долго думая, я вдруг ре-

шил так и сделать. Чем ехать в чужой и незнакомый город и состоять там у какой-то знатной дамы на побегушках, лучше вернуться домой.

* * *

На другой день я был уже дома. Конечно, я сделал большую оплошность, что не поехал в Киев, так как та знатная дама, к которой направлял меня Ге, очень помогла бы мне в моем учении и никаких бы, вероятно, услуг за это с моей стороны не захотела, — Ге о них говорил мне просто для того, чтобы я не забыл о чувстве благодарности, он только не сумел удачно к этому подойти.

Я написал ему покаянное письмо и через несколько дней получил от него ответ:

«Любезный друг Иван!

Ты напрасно думаешь, что я могу сердиться на тебя. Ты не сделал никакого преступления, что поехал к отцу. Не получив ответа от Теплова, я догадался, что ты поехал к отцу. Но не думай, что не учившись, можно работать. Не только в искусстве, но и в каждом ремесле и в простой работе учиться нужно! Я тебе указывал путь не скверный, а чистый и возможно менее мешающий заниматься своим делом.

Письма мои пришли мне обратно по почте.

На тебя мне не за что быть недовольным. Я всегда с удовольствием тебе помогу в учении, когда захочешь и когда тебе позволит тот, от кого ты зависишь до совершеннолетия.

Будь здоров. Храни тебя Господь.

Любящий тебя Николай Ге».

Это сдержанное, но все же теплое письмо подействовало на меня ободряюще, и я поспешил написать Ге, что уже во всем буду поступать, как он укажет, лишь бы мне снова быть под его руководством. Ге тотчас-же написал моему отцу, чтобы он снова прислал меня к нему.

«...Пусть приезжает. На всякий случай дайте ему немного денег. Может-быть, ему у меня опять будет трудно, тогда я устрою его в школе, где, несомненно, его успехи пойдут быстрее и обратят на себя внимание людей, которые оказывают материальную поддержку способным ученикам. У вашего сына дарование большое, и ежели он будет его развивать, из него и художник выйдет большой. Нужно только его приохотить к труду. Я посмотрю, не удастся ли мне оставить его у себя».

Получив от отца немного денег, а от матери напутствие — слушаться Ге, я опять поехал в хутор.

Но не прошло двух или трех недель, как Ге застал меня в саду горько плачущим.

— Что такое? В чем дело? — забеспокоился он.

Я еще больше расплакался.

— Не могу, не могу я здесь дальше оставаться. Я так вас люблю, так дорожу, что вы меня учите, но я чувствую, я вижу, от меня не скрывают, что я здесь совсем чужой, что все, кроме вас одного, относятся ко мне неприязненно, сторонятся меня...

Ге сознался, что он и сам это видит, но не находит возможности сделать так, чтобы его домашние стали относиться ко мне лучше. Попытки его в этом направлении были безуспешны и ему, в конце-концов, пришлось сказать:

— Придется тебе поехать в Киев. Может-быть, с течением времени, все изменится к лучшему, и тебе опять можно будет ко мне приехать,— я тогда тебя позову.

ПОЕЗДКА В КИЕВ.

Другого ничего не оставалось. Я поехал в Киев. Приехал к тому самому Теплову, к которому Ге меня и раньше посылал. Теплов, молодой офицер, живший на Печерске, принял меня в духе толстовского непротивления злу, — он был толстовец, — и продержал меня что-то около двух недель, пока не нашел, куда меня ткнуть: он свез меня к одному ученику школы—Эйдельману, жившему в конце Кирилловской улицы, чуть не за пять верст от школы. Этот шустрый юноша, такой же неимущий, как я, был покладист, и мы с ним прожили в мире и согласии почти полтора месяца, хотя один раз я его чуть было не избил, когда он мне заявил, что нет бога.

Приехав в Киев только с десятью рублями, — отец мне больше дать не мог,—я каким-то чудом продержался в нем около двух месяцев. Правда, я иной раз голодал по три и даже по четыре дня, то-есть, не голодал, — я не точно выразился, — голодал я все время, — а буквально ничего не ел по три и даже по четыре дня и доходил до обмо-

рочного состояния, до того, что мне казалось,— не я шатаюсь и падаю, а весь мир вокруг меня шатается и куда-то проваливается.

Отощав окончательно и распродав все, что у меня было в чемодане: одеяло, подушку, белье и прочие вещи, я в конце-концов простился с Киевом и поехал домой с пустым чемоданом.

По пути остановился в Плисках, чтобы завернуть хоть на несколько часов в хутор: считал неудобным проехать мимо, не отдав отчета Ге—что делал в Киеве. На станции встретился с Катериной Ивановной, — она откуда то возвращалась домой. Узнав, что я направляюсь к ним в хутор, она предложила мне поехать с ней. По дороге сообщила, что Николай Николаевич за последние два месяца очень переменился: отдал все свое имение сыну, увлекается черной работой, пашет землю, косит сено, кладет крестьянам печи, возится у себя в саду с пасекой.

Несмотря на ранний час, когда мы приехали,— кажется часов в семь или восемь,—Ге уже был на ногах; он собирался куда то уходить и только никак долгое время не мог найти свой картуз.

В столовой царил беспорядок: на стульях и столах лежали веревки, топор, ручная пила, по углам виднелись лопаты, вилы, грабли и другие сельско-хозяйственные принадлежности, обретавшиеся раньше в амбаре.

— Надо трудиться, — сказал Ге в тоне поучения, когда я, изумленный, спросил его, что его за-

ставляет возиться с черной работой. — Нельзя жить на чужой счет и стыдно пользоваться чужим трудом человеку, который в состоянии работать и зарабатывать себе пропитание. Теперь у меня ничего своего нет: я все отдал сыну и, чтобы не есть даром его хлеб, я у него зарабатываю. А ты как провел время в Киеве?

— Ходил в школу.

— И только?

— Да. А что еще нужно было?

— Нужно было найти себе какое-нибудь дело или службу, чтобы иметь хоть небольшой заработок и жить на свой счет, а не на труды отца. Лев Николаевич какой большой человек, а и то не пренебрегает простой работой: рубит дрова, шьет сапоги, кладет крестьянам печи.

«Зачем же ему это?—думал я,—если у него дарование писателя, да еще такое огромное, зачем ему трудиться там, где он менее способен сделать не больше и не лучше самого заурядного чернорабочего? И почему это ласковый и добрый Николай Николаевич так резко изменился, стал таким желчным и нервным?»

— Ты теперь отправишься домой, — сказал он после небольшой паузы, хотя это было излишне, так как я все равно направлялся домой и в хуторе оставаться не рассчитывал. — Я напишу твоему отцу, чтобы он нашел тебе какое-нибудь дело, которое дало бы тебе возможность собрать сколько-нибудь денег для Киева. Мне писали от-

туда, что ты мало посещал школу. Это нехорошо... И вид у тебя сейчас, точно ты не из школы, а из ночлежки вышел...

Скорбно мне было слышать все это от Ге, но я не находил слов сказать ему что-нибудь в свое оправдание и молча опускал глаза.

Через час я от него уехал. А на другой день он написал отцу:

«Милостивый Государь,
Кирилл Федорович!

Вчера отправил я сына вашего Ивана к вам. Сначала я оставил его у себя, думая, что он может учиться пока до зимы, чтобы зимой отправить в школу, но увидел, что ему учиться у меня невозможно. То, что я вам писал прежде, то и случилось. Мальчику трудно без сверстников быть, ему скучно, и он не мог пользоваться тем, что я ему передавал. Я попробовал его послать, хоть на короткий срок, в Киев, в школу, но эта попытка оказалась неудачной. И, главным образом, потому, что он имеет, по моему мнению, крупнейший недостаток, о котором я и хочу вам написать. Вы меня не осудите за это: только желание добра вашему сыну мною в этом случае руководит.

Что я вам писал, я и теперь скажу, что сын ваш богом награжден. Но любви к труду ему никто никогда не внушал. И несмотря на все мои усилия, я этого сделать не мог. Я даже думаю, что теперь никто не в состоянии к этому приучить

его. Одно средство остается — это, что сама жизнь его своими ударами научит его. Вы, как отец, можете ему помочь, внушая ему то же, что я ему много раз высказывал, что жить на чужой счет, даже родных, будучи здоровым — постыдно, а труда худого нет. Быть лакеем, быть дворником для человека ничего не знающего,—есть честное средство, — узнавши ремесло, тоже хорошо и честно, а жить на труды других нехорошо и постыдно. И какой бы дар ни был от Бога, ежели человек пренебрегает указаниями того же Бога: жить, трудясь — дар пропадает. Нельзя быть художником и воспитывать в себе дурного человека — тунеядца. Заставьте его себе зарабатывать свое положение и к этому давайте помощь, чтобы с августа он мог быть в школе, в Киеве. Тогда из него будет человек хороший и художник.

Я сам живу у своего сына и не могу всех стеснять для жизни его, а жить в обществе другого строя ему только вредно, — я это сейчас же увидел, — и несмотря на все старания с моей стороны, я не мог достичь желаемого. Чрезвычайно легко руководить желающего и ищущего, но невозможно руководить нежелающего и думающего, что он все сам знает. Я его не виню, он не виноват, это делается постепенно, понемногу,—а ежели вы, с любовью, как отец, ему это внушите и заставите непременно работать, что-бы он понял, что тратить заработанное надо осторожно и что надо

скорей научиться, чтобы быть самостоятельным, что играться, баловаться делом нельзя человеку бедному, что игрушки и богатых губят.

Искусство, как дело, дорого и важно; как игрушка — глупое занятие, и что на эту потеху тратить трудовые деньги отца — грешно. Я всеми силами старался ему это внушить. Я надеюсь, что он с августа поступит в школу, поймет, что значит учиться и, узнавши то, что он теперь не знает, а думает, что знает, поймет, чем он пренебрег у меня, и что я ему предлагал. Когда он заслужит усиленным трудом, я ему опять дам то же, но не иначе, как если он это заслужит.

Я бываю в Киеве часто, бываю всякий раз в школе и учу, следовательно, я увижу, насколько он понял и полюбил труд. Вас же я прошу ему помочь прожить первое трудное время. Я уверен, что ему за труд и его способности дадут помощь от школы.

Остаюсь с уважением
Николай Ге».

Не скажу, что это нервное и не совсем отвечающее или, вернее, совсем не отвечающее действительности письмо, своеобразно к тому же истолкованное моим отцом, принесло мне какую нибудь пользу. Кроме глубокого огорчения и незаслуженных попреков со стороны отца, оно не дало мне ничего.

Тем не менее, раздобыв летом немного денег,

в августе я уже опять был у Ге, — заехал к нему по дороге в Киев.

Ге совсем «опростился». От прежнего элегантного — такого барина — и следа не осталось, — на пасеке, около ульев с пчелами хлопотал убеленный сединами загорелый старик в поношенном пиджаке и простом деревенском картузе.

— Вы ли это, Николай Николаевич?—подошел я к нему с изумлением.

Он поднял глаза и улыбнулся.

— Ты? Здравствуй! Только чего ради в немецком одеянии?

На мне была обыкновенная шевиотовая пиджачная пара, рублей в пятнадцать, и круглый немецкий картузик. Я не нашелся, что на это ответить и, кажется, только сконфузился.

Ге протянул мне руку.

— В школу?

— Да, Николай Николаевич, учиться.

— Поезжай. Только аккуратней там ее посещай и как-нибудь устройся с заработком.

— Хорошо, Николай Николаевич, буду стараться.

— Где проводил лето?

— У себя дома.

— А что делал?

— Зарабатывал на школу, писал иконы.

— Нужно было мне тебя предупредить, чтобы поменьше их писал... Лучше писать вывески.

— А вы, Николай Николаевич,—поинтересо-

вался я,—что делали летом? Может-быть, что-нибудь написали? Покажите мне.

— Нет, я был занят по хозяйству, не имел свободного времени. Не выбрал его даже в Ясную Поляну сходить.

— Как сходить, пешком?—удивился я.

— Да. Что-ж тут такого?.. Люди ходят и дальше. Я, положим, верст сто все-таки прошел, дошел до Буды, где живет брат моей жены—Егор Петрович, и остался у него гостить. Хотел было написать тебе, чтобы и ты туда пришел,—от вас это недалеко,—но вскоре мне понадобилось вернуться домой.

К концу этих слов к нам подошел старший сын Николая Николаевича, так же одетый слишком просто, вследствие чего у меня с ним вышло недоразумение, не на шутку его рассердившее: я принял его за кучера и, здороваясь, назвал его Грицьком.

После обеда мы все, втроем, рисовали с натуры Катерину Ивановну: Николай Иванович и я—углем, а сын—карандашем. Анна Петровна была судьей,—у кого больше сходства.

Вечером сын Николая Николаевича уехал в Москву, по-моему — как-то внезапно. Николай Николаевич почти всю ночь пролежал в постели с открытыми глазами, часто клал на голову руки и потирал лоб, несколько раз проводил ими по глазам, стирая слезы, заметно блестевшие при слабом огне свечи, которую он всю ночь то зажигал,

то гасил. Я впервые видел в его глазах слезы, и мне было так его жаль, что я сам потихоньку плакал.

Утром же, когда все еще спали, встал, пожелал Николаю Николаевичу, поднявшемуся меня выпустить, здоровья и балгополучия и уехал.

РИСОВАЛЬНАЯ ШКОЛА МУРАШКО.

Несколько слов о рисовальной школе. Помещалась она в небольшом двухэтажном здании на Большой Владимирской улице, недалеко с одной стороны от городского театра, а с другой—от Золотых Ворот, и ютилась в шести-семи комнатах. При ней проживал и создатель ее со своим семейством—Мурашко, Николай Иванович, незначительный художник, но ловкий и предприимчивый человек. Материальную сторону школы поддерживал, главным образом, Иван Николыч Терещенко, сын известного миллионера-сахарозаводчика, и, кажется, князь Репнин—губернский предводитель дворянства, а педагогическую: по живописи—художники: Платонов, Селезнев, Пимоненко и сам Мурашко, по истории искусств—профессор Мищенко, по анатомии — Натансон и по перспективе — астроном-наблюдатель университета Фабрициус.

Учеников в школе набиралось человек пятьдесят-шестьдесят, а иногда и больше. Были среди них довольно способные, но были и такие, которые

занимали места только потому, что хорошо платили. Среди первых выделялись: Куренной, Костенко, Быстренин, Дядченко, Генюк, Андреев, Скляров, Шинкаренко, Ткаченко, Яремыч, Дейнека, Данилов и т. д. Эти почти все попали потом в академию, а Костенко и Андреев даже в парижскую—и составили себе имена.

Не лишним будет упомянуть для характеристики Мурашко, что при школе жили два несчастных неудачника, которых он под видом благодеяния преспокойно эксплоатировал: один из них—неподражаемый изображатель кошек, неизлечимый алкоголик Яблочкин, а другой—товарищ Мурашко по академии, Семен Антонович Маринич — мой земляк. У первого, когда ему хотелось выпить, а это с ним происходило каждый день, Мурашко покупал по рублю за штуку его дивные картинки, за которые потом брал сотни, а второго, слегка из-за чего-то помешавшегося, бывшего, значит, не совсем в своем уме, приспособил к себе для выполнения по дому лакейских обязанностей. Семен Антонович был иногда своеобразен. Начнет, например, услуживать ученикам старших классов,—младшие этим не пользовались,—и то сделает, и другое сделает, и мольберты приготовит, табуреты всем поставит, чистоту кругом наведет, все время на готове—не надо ли еще чего-нибудь, а иногда и с дельным советом подойдет, подскажет, как что нужно сделать. Ученики умилялись: посоветуются друг с другом, соберут рубля три-четыре и сунут

их Семену Антоновичу в руку. Его точно выметет что после этого из классов,—исчезнет на половину своего благодетеля недели на две, и калачем его оттуда не выманишь, пока как-нибудь сам не заглянет, а заглянет—опять все попрежнему.

Бывал у Мурашко «по делам» и Врубель. Помню, он раз даже с какими-то образами к нему приходил, вероятно, с исполненными по его заказу.

Рисовали мы в школе больше с гипса. Ничего не умеющие начинали с орнаментов и частей лица, а умеющие переходили на маски и головы и заканчивали фигурами. Ученики головного и фигурного классов, в особенности последнего, писали и красками. Это были уже взрослые и солидные люди, которые на нас, малышей, смотрели, задрав нос. Многие из них во время производившейся тогда росписи Владимирского собора писали Васнецову внутри собора орнаменты и получали за это по полтора и два рубля в день. Эти еще больше кичились перед нами.

По субботам Мурашко устраивал в школе вечера, на которые сходились все учащиеся—и старшие, и младшие—и единодушно оказывали должное внимание сладкому чаю со свежими французскими булками и кусками чайной колбасы. При этом Мурашко мастерски читал чьи-нибудь захватывающие стихи, главным образом, Шевченко, и его голос почти пел: «Кохайтеся, чернобривы, та

не з москалями, бо москали—чужи люди, роблять лихо з вами...» Учащиеся, у кого был голос, дружным хором пели хоровые песни, солисты овладевали сердцами, в особенности крепко брал их, что называется, за живое один великовозрастный ученик, по фамилии Борисов, басом изливавший: «Ой, у лузи...» и еще один великовозрастный, фамилии которого не помню, доводивший нас до слез мелодичной песней: «На заре туманной юности всей душей любил я милую...»

Но как ни хорошо мне было в школе по субботам и как ни увлекательно было в ней в часы занятий, когда огненные лампы жарили светом голову какого-нибудь гипсового Люцифера или Зевса, а пред ней, разместившись веером, шуршали по ватману и по обыкновенной александрийской бумаге уголь и тушевальные карандаши, я в этот раз до конца занятий в Киеве не додержался,— не на что дальше было жить, трудно было что-нибудь заработать, отец не в состоянии был помогать и, простившись с Мурашко, который на мое заявление, что уезжаю домой, равнодушно ответил: «скатертью дорога», недели за две до каникул взглянул в последний раз на Киев и пешком, с чемоданом за плечами, отправился через Цепной Мост и Никольскую Слободку к себе домой.

* * *

Дома к моему появлению раньше наступления каникул отнеслись неодобрительно, с определен-

ным после письма Ге взглядом: мол—«тунеядец». Работал бы ты лучше у Захаровича,—сожалела матушка,—давно бы уже что-нибудь зарабатывал.

И отец ставил на вид:

— Не маленький, слава богу... Пора и самому добывать себе хлеб.

Но для того, чтобы самому добывать себе хлеб, нужно было иметь работу, а ее-то дома и не было. Если же иной раз и случилась, то грошевая, вроде такой, например, как сейчас расскажу. Неподалеку от нас жила одна бедная, старая вдова, по прозванию Кравчиха. Захотелось ей иметь новый образ и она обратилась ко мне:

— Иванька, напиши мне Миколая чудотворца, да только хорошенько и недорого.

Сговорились, кажется, на целковом.

И я написал. Для большей художественности лик чудотворца изобразил с одного старого полицейского, правда, по образу жизни далеко не святого и вдобавок любившего всегда находиться под хмельком, но имевшего такую же бороду, как у Николая чудотворца, да довольно колоритное лицо.

Кравчиха, как увидела, руками всплеснула:

— А боже-ж мой! Боже мой!.. Це-ж Бабинец!— узнала она сразу.—Куды-ж я его дену и як я ему буду молытця?

Однако, целковый заплатила, образ освятила и повесила на покуть.

СТИХИ И ЖИТЕЙСКАЯ ПРОЗА.

Я тогда, за избытком досужего времени, и стихами не без пыла увлекался, любил их слагать. Заберешся, бывало, куда-нибудь подальше от человеческого уха, чтобы никто не слышал, ходишь взад и вперед и барабанишь себе, что в голову придет, непременно в рифму и с соблюдением ритма: «Вечереет... Дремлет нива, рожь колышется лениво, и волна бежит по ней в ширь синеющих полей...»

Раз я списал своих стихов начисто штук пять или шесть и послал в редакцию одной небольшой провинциальной газеты с просьбой прислать мне, если хоть одно стихотворение подойдет, несколько экземпляров того номера, в котором оно будет напечатано. Недели через полторы я получил под бандеролью номеров десять и в них увидел свои стихи. Сразу даже не поверил. Пришло в голову, что это какое-нибудь совпадение. Но когда сличил с ним свой черновик и в особенности, почему то, запятые, тот-час же убедился, что они—мои. Не помню, каким я тогда себе показался, но помню,

что я вскоре уже бегал из дому в дом совсем неузнаваемый.

— Здравствуйте! Гриша дома?

— Нету его. А что?

— Да так... Хотел видеть. Кстати, вы еще не читали?

— Чего?

Вынимал из кармана газету и разворачивал на том месте, где были напечатаны мои стихи.

— Что это? «Завывает вьюга, небо кроет мгла... Без любви и друга жизнь твоя прошла. Ты глядишь, печальный, за минувшим вслед... Вьюга погребальный заметает след». Твоя подпись. Чье это?

— Мое, если моя подпись. Чье же еще?

Недоумевающие взоры на меня, недоверчивые — на мою подпись. Но все было ясно, как божий день.

Я летел дальше.

— Петя дома?

— Нету.

— А это вы читали?

И опять тоже самое, что было в первом доме. И так далее, пока к вечеру не обежал дворов десять.

— Вот тебе еще одно твое стихотворение,— извлек отец из своих бумаг сохранившийся у него исписанный карандашом полулист бумаги.

Я прочел и вспомнил: несколько лет тому назад, мне тогда было лет двенадцать, я сидел у себя дома

у открытого окна и пил чай. Был летний вечер. Матушка что-то напевала. К соседнему окну подошел нищий старик, заслушался, что-то шептать стал, воздел кверху руки. Я схватил карандаш, бумагу и быстро, без поправок и помарок, экспромтом набросал:

Живя в довольстве бесконечном,
Не зная горестных забот,
Она в спокойствии беспечном
О чем-то радостно поет.

Она поет, и льются звуки,
А в это время под окном
Прохожий дед, ломая руки,
Стоит с заплаканным лицом.

О чем он плачет? Не о том ли,
Что он убог, что он один,
Старик недужный и бездомный,
Судьбой забитый гражданин?

Иль в этих звуках он случайно
Услышал звук себе родной,
И вспомнил юности печальной
Забытый образ дорогой?

Иль эти звуки пробудили
В нем позабытую любовь,
И сердце светом озарили,
И в грудь вдохнули силу вновь?

Она поет, и льются звуки,
А он—бездомный сирота,
Простерши вверх сухие руки,
Зовет Спасителя-Христа.

Как ни дорого мне было мое вступление в печать, которое, кроме авторского удовлетворения, ничего мне больше не давало, остановиться на этом я не мог и должен был позаботиться не только по совету Ге и настоянию отца, но и по личному побуждению—о насущном хлебе, должен был найти себе какой-нибудь заработок.

У нас дома, как я уже оговорился, его не могло быть. Пришлось искать на стороне. Для этого я отправился верст за двадцать пять в одно местечко, где проживал какой-то захудалый живописец по фамилии—Мазур. Работа у него нашлась: писать по семидесяти пяти копеек в день иконы, которые он потом в базарные дни с небольшим для себя барышом продавал. Проработал я у него что-то около месяца и заработал рублей двадцать. Но в это время мне подвернулась более солидная работа: написать для одной церкви целый небольшой иконостас, так что к концу лета я уже был с хорошими деньгами и мог поехать в Киев. Но—странное дело—меня уже больше туда не тянуло. Я захотел чего-нибудь другого, нового... В школе я, отчаянно нуждавшийся и из-за этого неаккуратно ее посещавший, чувствовал себя отвратительно, кроме того, я не имел в ней среди своих

товарищей никого такого, к кому бы питал привязанность и дорожил бы его дружбой.

Поделившись дома своим заработком, я, вместо Киева, отправился в странствования. Мне нравилось менять места и видеть все новых и новых людей. И я эти странствования полюбил так, что потом долгое время только и делал, что кочевал с места на место

ПУТЕШЕСТВИЕ.

До восемнадцати лет я больше вертелся в своих краях. Но на девятнадцатом, с первыми лучами весеннего солнца, когда, по выражению Тургенева, и счастливых тянет вдаль, я рванулся дальше—захотел пойти в Ясную Поляну и не как-нибудь обыкновенно, а нарядившись в простую деревенскую свитку, в грубые сапоги, с котомкой за плечами. Все это я с помощью одного знакомого сельского учителя раздобыл. Переоделся и отправился. Несколько дней шел благополучно. Не очень вяз в грязи, так как почва была еще заморожена, и не далеко обходил встречающиеся лужи, так как они еще были невелики, хотя уже стоял март, и солнце в ясные дни пригревало. Но на четвертый или пятый день поднялась вдруг пурга. Подул отчаянный ветер, посыпалась снежная крупа. И началось это, когда я уже далеко отошел от села, и до следующего оставалось еще часа два. С полчаса я кое-как держался, хотя страшно ежился и зяб, но дальше мне уже было невмоготу,—я чувствовал, что коченею... Вдруг... сзади какое-то дре-

безжание, грохот... Оглядываюсь,—меня нагоняет подвода, на ней—закутанный в брезент мужик.

Я взмолился:

— Дяденька, подвези, пожалуйста! Коченею...

Мужик придержал лошадь, дал около себя место. Не разглядывая, кто и какой, сажусь рядом с ним, и, дрожа, как в лихорадке, заворачиваюсь в брезент. Понемногу отхожу, чувствую свое теплое дыхание, согреваюсь... Даже дремать начинаю... Хорошо как-то стало, уютно... все забылось, все куда то уплыло... перестало быть...

Вдруг... это уже произошло не скоро... меня точно встряхнуло,—открываю глаза и—о, ужас!—я сижу по шею в воде...

Оказалось, мужик задремал и не заметил, как лошадь наехала на косогор, с которого мы свалились вместе с телегой в лужу, причем я попал в самую глубину, а мужик—только в грязь. Телега-же, сделав свое дело, то-есть, вывернув нас, тот-час же встала на колеса.

Я приподнялся, и с меня шумно полилась вода.

— Ну, милый, садиться тебе на телегу, такому мокрому, теперь не дело,—резонно сказал мужик,—закоченеешь в минуту. Лучше скорей беги,—от бегу согреешся. Да и село недалеко, с версту, не больше. Как добежишь, вали в первую избу, попроси переодеться.

Я так и сделал. Подобрав свою котомку, которая, к счастью, упала не в воду, а только в грязь,

я быстро захлюпал полными воды сапожищами по грязной дороге. Мужик меня вскоре обогнал.

— Ничего, молодец, ничего! Беги... Скорей согреешься... Село недалеко. Беги без передышки... донеслось до меня и оборвалось унесенное, хлеставши меня сбоку жестоким ветром, который, точно забавляясь, с непреодолимой силой яростно сыпал мне в лицо и под ноги снежную крупу.

Через четверть часа что-то впереди зачернело. Показалась изба. Я прибавил шагу. В минуту очутился около нее. С меня пар повалил, когда я приостановился и взялся за дверь.

Шагнул внутрь и, не разглядывая, кто там и что, наскоро сообщил, в чем дело, и попросил дать мне поскорее во что-нибудь переодеться. В избе оказались только одни женщины—пожилые и молодые и совсем девченки.

— Чего-ж тебе дать? У нас только женское,— недоумевали они.

— Чего-нибудь, все-равно... только поскорей, а то простужусь... Бррр... Ба-ба-ба-ба!..

— И то верно. Мотря, доставай там чего-нибудь из сундука. Смотри, как его трясет.

Достали рубаху, сарафан, кофту, онучи, лапти. Бросили на печь. Я полез туда следом и очень быстро переоделся. Стало радостно, приятно.

Слез.

Все так и расхохотались: слез настоящей девицей.

— Ай, да на́-тебе!.. Куда и девался паря... Настоящая девица! Анюта, Марья, Фима, принимайте товарку в свою компанию...

Девчонки смеялись.

— Что-ж это с тобой приключилось?—начали допрашивать.

Я рассказал.

— Хорошо еще, что недалеко. Это все на том проклятом косогоре. Постоянно там оказии. Намедни Вавила ось сломал.

Благодаря тому, что меня видели в мужском образе только несколько минут, а все остальное время я внешностью своей ничем не отличался от находившихся в избе женщин, они чувствовали себя в моем присутствии ничуть не хуже, как если бы я был и взаправду особой их породы, и ни в чем меня не стеснялись.

Три дня сохло на печи мое одеяние, (мне было жаль, что не больше), и только на четвертый я двинулся дальше.

* * *

Дошел до Карачева. Там сел на поезд и поехал до Орла. Орел мне понравился. Решил в нем немного задержаться. Но, чтобы не окалачиваться зря, подыскал себе живописца и устроился у него писать иконы. Вскоре, однако, как только ознакомился с городом, изменил живописцу и перешел в редакцию «Орловского Вестника» в качестве какого-то сотрудника. Мысль о Ясной Поляне с

этого времени оставил. Так же и дырявая свитка с остальным моим деревенским облачением, которые, правду говоря, в городе причиняли мне только стеснения, немедленно были заменены пиджачным костюмом.

На первых же порах, (не помню только—как и при каких обстоятельствах), я в Орле познакомился с одним реалистом, носившимся по городу со свертками рисунков. Это был Леонид Андреев. Он рисовал увеличения с фотографических карточек по три-четыре рубля и, кажется, зарабатывал в месяц рублей двадцать пять, тридцать. Показывал он мне свои работы и у себя на дому, где я познакомился с его матерью. После же, лет двадцать спустя, когда я с ним столкнулся уже на зените его писательской славы, он отрекся от наших прежних встреч и сказал, что по Орлу меня не помнит. Но как только я встретился у него же с его матерью, старушка, к стыду своего сына, моментально меня узнала.

В ту пору я познакомился в Орле и еще с одним юношей, который впоследствие тоже сделался выдающим писателем—с Иваном Алексеевичем Буниным, приходившим в редакцию и читавшим пред редактор-издательницей Надеждой Алексеевной Семеновой (впоследствие Сентяниной), — между прочим: очень обаятельной и светлой личностью,— свои первые стихи о курятнике, напечатанные в «Родине».

Этот, когда я потом писал с него портрет, только «смутно» припомнил, что как-будто-бы видел меня в «Орловском Вестнике».

Несколько месяцев спустя, перекочевав из Орла, который мне вскоре перестал нравиться, в Курск, куда меня переманил редактор «Курского Листка» Фесенко, я, вместо литературной работы, стал писать портреты. Первый написал с вице-губернатора Лазарева, только что назначенного в Симферополь губернатором,—сына знаменитого Севастопольского адмирала.

—

ГУБЕРНАТОР АНАСТАСЬЕВ.

Зимой очутился в Чернигове. Там очень скоро сблизился с губернским предводителем дворянства графом Милорадовичем, сыном той самой знатной дамы, к которой Ге посылал меня с письмом. У него познакомился с его братом—бывшим подольским губернатором, женатым на дочери князя Васильчикова, заведывавшего в Петербурге Эрмитажем.

В семьях этих людей я встретил самое радушное и милое отношение, и, вдобавок, — хороший заработок. Писал им портреты с них самих и делал копии портретов их предков. У них познакомился с вице-губернатором Левашовым, занявшим потом в Одессе пост губернатора, и с грозным в Чернигове губернатором Анастасьевым. Про этого сатрапа ходили чудовищные рассказы: говорили, будто-бы ему Александром Третьим было предоставлено право драть, кого он найдет нужным, и что на этом основании он драл не только крестьян, но и людей интеллигентного класса и даже собственноручно избил одного священника.

Припоминаю такой о нем рассказ. Анастасьев обыкновенно ходил в штатском одеянии и любил, чтобы его и в таком виде узнавали. Раз он в зимний морозный день шел по направлению к базару, навстречу ему бежал спешивший куда-то мужичек; не добежав до губернатора несколько шагов, мужичек снял шапку,—довольный этим, губернатор ему милостиво разрешил: «надень, надень, братец, холодно!» — «Яке там—холодно», — оглянулся на него мужичек, далекий от мысли, что это—губернатор,—«я вспотив, а вин каже: холодно!»—Сконфуженный этим, Анастасьев пришел на базар не в духе. Подошел к дровам: «Почем?»—«Да почем же?..»—Мужики сказали цену. Губернатор нашел ее высокой. Те, вероятно, были в духе и, не зная, с кем говорят, отнеслись к этому насмешливо. Дальше-больше, сказали, може-быть, что-нибудь и лишнее. В результате губернатор закупил дрова тех, чьи речи ему не понравились, и предложил отвести их на пожарный двор. Там беднягам сейчас-же всыпали. И рассказали, когда первый из них получил свою порцию, он, еще со штанами в руках, догадливо воскликнул: «А це, часом, не губернатор?»

С этим «губернатором» и у меня было дело. Во-первых, когда я, будучи у него и читая его дочерям свое стихотворение «Живя в довольстве бесконечном», произнес слово «гражданин», он накинулся на меня: «что за гражданин? Какой такой

гражданин? Откуда такая крамола?» А, во-вторых, когда ему усердная полиция наших мест донесла, что я пишу домой о знакомстве с дочерьми его превосходительства и выражаюсь о них будто не особенно почтительно, он чуть-было не приказал меня выпороть, но сменил гнев на милость и ограничился тем, что выслал меня из Чернигова в двадцать четыре часа.

Я упомянул об усердной полиции наших мест. Нужно сказать, что я имел ввиду, главным образом, нашего станового пристава, по фамилии— Гузарского. Этот суб'ект жил в двадцати пяти верстах от нашего местечка и так самодурствовал в своем стане, в том числе и в нашем местечке, что все у нас считали его по меньшей мере побочным сыном губернатора, и я о нем писал в газеты корреспонденции. В'езжает он, бывало, в наше местечко, (чуть не с колоколом под дугой, вместо колокольчика), и—есть ли кто на улице или нет,— начинает горланить: «Шапки, шапки, шап-ки-и-и!» И беда, если кто-нибудь из встречных не успевал во-время снять с головы шапку, Гузарский останавливал лошадей и принимался виновного крыть такой многоэтажной бранью, что у того только глаза лезли на лоб. В заключение—посылал его на сутки под арест.

Выслан я был домой и должен был поехать только туда, так как губернатор собственноручно взял у меня мой паспорт и переслал его исправнику нашего уезда.

ЗАКАЗЧИКИ.

Приблизительно через год обстоятельства закинули меня на некоторое время в небольшой городок Стародуб, верстах в сорока пяти от нас. Там ко мне явился один отставной полковник и заказал мне портрет своей жены. На другой же день привез ее позировать. Я вспыхнул весь, когда ее увидел. По-моему, она была та самая, которая когда-то толкала меня ногой и говорила: «Давай капэйка». Все было у нее, как у той: и необычайно красивое лицо, и большие черные глаза и очаровательный рот, таящий в своих углах какую-то загадочность.

Ей было лет двадцать шесть, двадцать семь. В замужестве состояла, как я узнал после, семь лет, но все еще не знала радостей материнства и, повидимому, изнывала от этого.

Отвечая на мои вопросы, она взглядывала на мужа, который почему-то спешил ее обрывать и отвечать за нее своими словами. После я узнал, что он был до крайности ревнив и держал ее чуть не взаперти.

Первый сеанс у нас прошел благополучно и длился часа два. А к концу второго сеанса, который был короче первого почти на полчаса, я стал чувствовать, что полковник явно уже ревнует и начинает нервничать, обрывая ни в чем не повинную жену на каждом ее слове и заставляя сидеть ее неподвижно. Некоторая резкость чувствовалась и в его обращении со мной.

— Знаете что,—заявил он мне, решив, что сеанс уже можно прекратить,—я нахожу, что лицо уже вполне готово и похоже.

— Положим, не совсем,—начал было я возражать.

Но он махнул рукой.

— Достаточно. Завтра пришлю к вам нашу горничную, которая такого же роста и сложения, как и жена; она явится с платьем жены и будет в нем позировать.

На другой день явилась ко мне с платьем своей госпожи горничная и сообщила, что ее госпоже накануне досталось.

— За что?—удивился я.

— За то, что на вас смотрела.

— Что он—сумасшедший, что-ли? — вознегодовал я.

— Хуже... такой окаянный, что ужасть! Ревнует ее даже к образам, которые мужские. И теперь у нас ни Христа, ни Александра Невского, одни только богородицы, да Варвара великомученица,

да еще маленький образочек Марии Египетской в честь его матери.

Когда я дня через два закончил платье, ко мне явился полковник.

— Знаете что...—начал он мечтательно:—у жены есть великолепная из голубых лисиц ротонда,—напишите мне ее в этой ротонде. Головка у вас имеется, вы скопируйте, а для ротонды будет приходить горничная. Можете?

— Пожалуйста.

Затем последовал третий портрет.

— В шубке из горностаев. Чудные горностаи!

Затем в шубке из шиншиллей, в шубке из соболей, в каракулевом саке, в котиковом пальто, в дохе...

— Надо бы еще в бальном платье, да и так уж восемь портретов. Достаточно.

— Как же вы их развесите?—поинтересовался я.—Ведь головы на всех портретах одинаковы,—будет немного странно.

— А я их буду вешать по очереди—повисит один, потом другой и т. д.

Чудак!

* * *

В том же году, но только не в Стародубе, а в Ромнах, случились у меня еще курьезы: один—с табачным фабрикантом, и другой — с богатой помещицей.

Фабрикант, ярославский купец, закинутый на Украину, имел в Ромнах большую махорочную

фабрику и многочисленную семью. На мое предложение написать кого-нибудь из его детей, он пожелал увековечить лучше себя.

— Да только, чтобы можно было узнать,— поставил в условие.—Иначе не возьму.

— Хорошо.

— Цена?

— Полтораста рублей.

— Меньше нельзя?

— Никак.

— Ладно.

На следующий день я явился к нему со кладным мольбертом, полотном и красками и приступил к работе. Типичные черты его купеческого облика сами собой ложились на полотно. Уже с первого сеанса его можно было узнать, а после второго все члены семьи в один голос нашли, что похож лучше, чем на фотографии.

Третьим сеансом закончил. Заказчик остался доволен.

— Похож! Вылитый!.. Молодчина! Мастер своего дела! Медаль следует дать!

Похлопав меня одобрительно по плечу, он затем осведомился насчет следующего сеанса.

— Какого?—удивился я.—Зачем?

— Как зачем? Чтоб продолжать.

— Что продолжать? Портрет готов.

— То-есть, как это—готов?

— Окончен. Остается вам вставить его в раму и повесить на стену.

— То-есть, как это—на стену? Как это окончен? С трех то раз?

— Ну, да.

— Это что-ж такое?..—заревел вдруг весь побагровевший фабрикант.—Жульничество? Мошенничество? Хотите, чтобы я заявил прокурору? Дурака, мальчишку, что-ли нашли? Что-бы я, человек в здравом уме и знающий цену деньгам, платил за три часа работы полтораста рублей?!.. Да у меня приказчик получает в месяц шестьдесят рублей, так он в шесть часов встает, а в двенадцать ложится, работает за эти деньги, как вол... А тут я за три часа мазни буду платить полтораста рублей! В жизни моей никогда этого не бывало... Я думал, что он за такую сумму денег недели три продержит перед собой меня, да столько же попотеет над работой дома,—а он—на́ тебе—в три раза готово! Да разве я, если бы знал такую штуку, согласился бы дать за три часа пустяковой работы столько денег? Пятнадцати бы не дал, а не то что... Жульничество такое!..

Семья фабриканта рассыпалась по соседним комнатам и только, как тараканы, шуршала за дверьми. Один лишь старший сын не ушел, но и он не произносил ни слова, видимо, не смея перечить своему крутому отцу.

Сконфуженый, согласившийся отчасти в глубине души с только-что услышанным, я собрал свои вещи, взял портрет и уехал домой.

Но на другой день рано утром ко мне явился

старший сын фабриканта и привез мне за портрет деньги.

— Здесь полностью полтораста рублей. Позвольте взять портрет. Только, пожалуйста,—добавил он, весь вспыхнув,—чтобы как-нибудь не узнал папаша.

* * *

Почти вслед за этим обратилась ко мне с заказом и местная помещица—дама молодая, красивая и богатая. Цену она сама назначила и довольно солидную. Позировать согласилась у меня.

Писать ее живописную головку—было одно наслаждение. И я писал ее пять сеансов и не по часу, как фабриканта, а часа по два и больше. И она мне удалась. В конце пятого сеанса заказчица попросила больше ее не трогать.

— А то испортите. Пишите теперь платье.

На ней оно было черное, с кружевной отделкой и изящно облегало ее красивые формы.

На платье у нас ушло четыре сеанса, после которых оставалось только написать где-нибудь в уголку портрета свою фамилию и сказать: готово. Но моей заказчице в это время внезапно пришла в голову мысль—увидеть себя на портрете в темно-зеленом бархате.

— Послушайте... Вы только не сердитесь... Это будет эффектно: мое лицо и темно-зеленый бархат! Представляете себе? Нет, это будет очаровательно!—размечталась она.

Делать было нечего, тем болёе, что она пообещала и плату увеличить,—пришлось согласиться и переписать черное на темно-зеленое. Понадобилось кое-где тронуть зелеными рефлексами лицо. Правда от всего этого портрет только выиграл, но ведь это стоило четырех лишних дней.

— А знаете, что я вам скажу,—улыбнулась мне заказчица, когда я только-что написал на фоне свою фамилию и отошел от портрета, чтобы взглянуть на него издали.—Я нахожу, что теперь портрет значительно интересней, но он будет во сто раз интересней, если вы вместо темно-зеленого бархата напишете светло-малиновый атлас.

Я хотел запротестовать, но она не дала мне говорить.

— Нет, нет, никаких возражений! И, пожалуйста, не сердитесь... Вам, конечно, надоело долго сидеть над одним портретом—это понятно. Но писать с такой бабешки, как я, признайтесь, вам все же приятно?

Лукавое создание женщина!

Я еще раз подчинился ей, на этот раз соскоблив весь слой черных и темно-зеленых красок, чтобы иметь возможность класть на их место светло-малиновые.

На эту работу у нас ушло шесть сеансов и не по два часа, а по три, так как пришлось переписывать кое-где и лицо, заменяя на нем зеленые рефлексы розовыми.

— Ну, вот видите: лучше, красивей?—восторгалась заказчица в конце шестого сеанса.—Я права?

Пришлось с этим согласиться: портрет действительно стал лучше.

— Голубчик,—вдруг вспыхнула она и как-то взволновалась,—а не приехать ли мне завтра в кремовом?

Около меня на стуле стояла маленькая этюдная шкатулка. Не говоря ни слова, я взял ее в руки и сильным ударом ткнул ею в середину полотна, в то место, где был изображен ее пышный бюст,—полотно треснуло и разорвалось; затем, так-же молча, поставил шкатулку обратно и вышел в другую комнату.

Заказчица замерла—ни звука, ни движения. И только через несколько минут оделась и навсегда покинула мое обиталище.

* * *

Из Ромен я перекочевал в Кременчуг,—много там писал, рисовал и увлекался театром, антрепренером которого был тогда знаменитый в театральном мире Никола Трофимович Филипповский, закончивший свою славную жизнь тем, что когда ему как-то оказалось нечем платить актерам жалованье, бросился под поезд.

Из Кременчуга я передвинулся в Киев, затем в Нижегородскую губернию и, наконец, в Петербург.

За это время я дважды выпустил сборник своих стихотворений, завязал сотрудничество в «Киев-

ском Слове», «Киевлянине», «Одесском Листке», «Минском Листке», «Волжско-Камском Крае», «Вестнике Юга», «Нижегородском Листке» и «Курянине», и три раза виделся с Ге: один раз у него на хуторе, другой раз—в Нежине, где его младший сын был председателем городского банка, а я, проездом, находился в гостинице, и третий раз—в Киеве.

В Нежине, узнав о его приезде, я тотчас же отправился на квартиру его сына. Ге оказался там и принял меня приветливо. Долго и с интересом расспрашивал, где я жил и что делал, и зачем попал в Нежин; под конец записал мой адрес и пообещал придти ко мне на следующий день.

Утро следующего дня,—это было в ноябре,—выдалось холодное и ветренное, хлестал мокрый снег. Я думал, что Ге в такую непогодь не пойдет, но он пришел. На нем была старая шуба с вытертым мехом и очень поношенный пиджачный костюм. Он пришел ко мне с какими-то огромными часами, очень рассерженный на часового мастера, что тот продержал его целых два часа в своей вонючей конуре и ничего не сделал с его часами. Потом он заговорил о необходимости всем интеллигентным людям опроститься и жить так, как живут крестьяне и рабочие и, наконец, перешел на академию художеств, что там не учат, а калечат и уродуют способных и одаренных людей, и когда я сказал, что как-раз я собираюсь туда поступить, он закачал головой.

— Не надо, голубчик, не надо! Там мертвечина; академия—гроб, и кто в нее поступает—живым лезет в гроб. Вот, если тебе удастся когда-нибудь поехать в Париж,—это будет другое дело,—там искусству учат.

В Киеве я с ним встретился года через полтора. Я тогда там заведывал одной портретной мастерской. В газетах вдруг появилось сообщение, что приехал Ге и остановился в гостинице Гладынюка. Разумеется, я тотчас же туда поспешил.

— Номер десятый,—сказал мне швейцар.

Я так горел желанием увидеть Ге, что вошел к нему, кажется, не постучавшись. Ге был один и пил чай. Увидев меня, он поднялся ко мне навстречу.

— Я рад, что вы пришли,—сказал он мягко и ласково, и почему-то на «вы».—Я про вас здесь спрашивал. Сказали, что вы в Киеве, но не знают—где именно.

— Были, конечно, в школе?—заикнулся я.

— Как же. Навестил ваших товарищей... Все они продолжают учиться и делают успехи... У них я про вас и спрашивал. Вот что я хотел вам сказать,—заговорил он вдруг деловым тоном:—хотел даже найти ваш адрес и вам написать. Теперь в академии идет серьезная работа: из гроба удаляют мертвечину и хотят ввести в него жизнь,—удаляют старых рутинеров и мертвую натуру и заменяют их молодыми свежими силами и натурой живой. Те-

перь туда можно поступить без риска. Один Репин чего там будет стоить! Поезжайте. И старайтесь попасть к Репину. Я ему про вас напишу.

К сожалению, Ге ничего не успел написать Репину: через четыре дня, вернувшись в свой хутор, под шумный бой тех самых часов, с которыми он был у меня в Нежине, он внезапно умер.

В АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ.

Поехав в Петербург,—это было во второй половине сентября,—я первым делом отправился в академию художеств узнавать, могу ли я держать в нее экзамен. Оказалось, до экзамена оставалась всего одна неделя, и прошения уже больше не принимались. Но кто-то из служащих в канцелярии академии надоумил меня обратиться к ректору,—тогда им был Владимир Егорович Маковский. Я захватил с собою написанную красками голову одного старого еврея и поспешил с ней к Маковскому на квартиру. Голова еврея ему понравилась, он написал на моем прошении: «Принять». Через неделю я держал конкурсный экзамен и выдержал его.

Начались занятия. С утра до обеда писали красками обнаженных натурщиков и натурщиц, вечером их рисовали, в промежутках ходили на лекции—по анатомии, истории искусств и перспективе. Преподавание рисования и живописи в общих классах вели: Творожников, Савинский и Лебедев. Усерднее всех хлопотал около учеников, в

особенности около новых, Творожников: он, как добрая заведенная машина, все время, пока находился в классе, неугомонно жужжал свои излюбленные слова: «Здесь надо посеребристее, а тут позолотистее... а то у вас как то сереньковато. Смотрите, как там». Лебедев больше молчал, а Савинский брал в руки карандаш и, вместо слов, карандашем учил, как надо рисовать. Он был великолепный рисовальщик.

КУИНДЖИ.

Расценивались наши классные работы по категориям: самая лучшая—первая, по старому уставу она соответствовала медали, а по новому—давала право на получение пособия в размере двадцати пяти рублей; вторая категория давала право на пятнадцать рублей, затем следовали—третья, четвертая и пятая. Я ниже второй почти никогда не имел и поэтому почти беспрерывно получал из академии пособия. Один единственный только раз дали мне третью, и то только благодаря Архиппу Ивановичу Куинджи, который меня невольным образом подвел. Это случилось так. Я писал в декорационном зале натурщика. Неподалеку усердствовал над фоном, ловко их тогда набрасывавший Грабарь, рядом с ним возился у громадного полотна Шмаров, выглядывала из-за своего мольберта Клокачова, к ней то-и-дело за чем-то все обращалась общая наша любимица Мартынова, (портреты которой работы Браза и Сомова висят в Третьяковке), что-то изображал мне знаками Сычков. Но я ни на кого не обращал особенного

внимания и весь отдавался своей работе. Уже я проложил почти всю фигуру, уловил трудно поддающееся передаче разнообразие красок в тенях, связал их с полутонами и переходом к свету и начал лепить формы. В это время мимо проходил Куинджи. Взглянув на мою работу, он замедлил шаги и приостановился,—очевидно, его в моем этюде что-нибудь заинтересовало. Подошел близко. Обыкновенно неприятно, когда кто-нибудь во время работы под руку смотрит: не пишется тогда. А тут наоборот: я точно в раж вошел, заработал еще энергичней. Куинджи начал хвалить: «Хорошо!.. Очень хорошо!.. Правильно!.. Верный тон!.. Красивая краска!.. Хорошо!..»

Долго курил такой фимиам, потом пожал мне руку и ушел, но сейчас же вернулся и добавил: «Когда-б не было хорошо, я не сказал бы, что хорошо».

Фимиам этот сбил меня с толку. Вместо того, чтобы довести работу начатым образом до конца, я оставил ее на полпути, так как был уверен, что и так уже хорошо. Но Совет академии посмотрел на недоделанную работу по-своему и влепил ее в третью категорию.

РЕПИН.

За то ни разу ни в чем не подвел меня Илья Ефимович Репин. Его указания и руководство всегда были метки, определенны и не вводили в заблуждение. Другое дело было, когда к нему обращались приходившие извне, посторонние. С ними у него была тактика особая. Я у Репина иногда бывал и на дому и нередко заставал у него этих—приходивших извне и показывавших ему свои художественные упражнения. Репин обыкновенно соловьем разливался пред ними, в восторг приходил, такое нес, что я, глядя с недоумением на то, что он хвалил, только плечами пожимал.

Застал я как-то раз у него одного офицера, который, повидимому, и раньше к нему приходил. Репин пред ним рассыпался: «Ах, знаете, я положительно вам завидую: у вас кисть большого мастера! Вы счастливый человек! За такой короткий срок столько подвинуться, это—гигантский шаг! Еще немного,—и до вас не досягнешь! Работайте, батенька, работайте!»

Офицер героем себя чувствовал и в его руках радостно трепетала его жалкая мазня.

Когда он ушел, я с укоризной сказал Репину:

— Илья Ефимович, что вы делаете? Как вам не стыдно? Ведь это же—бездарность!

— Совершенно верно, голубчик! Но нельзя иначе. Эта бездарность и без того обижена богом, зачем же еще и я буду его обижать? Все-равно он не поверит, если я скажу не то, что ему хочется. Пусть себе думает, что он талант. От этого никому никакого вреда не будет.

С тех пор я так и знаю: если Репин кого-нибудь «превозносит», это значит, что тот—несчастный, обижен богом!

ГРИГОРОВИЧ.

Приятное воспоминание осталось у меня о знаменитом писателе Григоровиче. Автор «Антона Горемыки» тогда был директором или председателем «Общества поощрения художеств» и, вероятно, состоял в Совете академии художеств членом, и, как таковой, во время первого при мне годичного акта, восседал вместе со всем Советом за одним столом с президентом академии, да еще с ним рядом, (по другую сторону президента сидел ректор академии—Маковский). Место в конференц-зале мне тогда досталось в первом ряду, как раз против Григоровича. Я его узнал сразу и мне было интересно на него смотреть, хотя и президент академии, великий князь Владимир Александрович, брат тогда недавно умершего царя Александра Третьего и дядя недавно воцарившегося Николая Второго, тоже был для меня любопытен, так как я впервые видел человека царского происхождения. Но возвращаюсь к Григоровичу. Он, в свою очередь, заинтересовался молодым человеком, упорно его разглядывавшим, и мы все время,

пока секретарь академии Лобойков читал свой доклад, не сводили друг с друга глаз. Затем, как только доклад окончился, и президент академии крякнул, что означало, что можно вставать, Григорович поднялся с места и направился ко мне.

— Вы, должно-быть, академист?—спросил он с обаятельной мягкостью в тоне.

— Да.

— По какому отделу?

— По живописному.

— Но вы и другим чем-нибудь занимаетесь?

— Немного пишу.

— То-то... Я так и подумал. У вас хорошее лицо.

— Потому, что пишу?

Григорович рассмеялся.

— Нет, не потому. Я хотел сказать, что у вас вообще хорошее лицо, откровенное, ясное... Заходите ко мне как-нибудь в «Поощрение»,—знаете? на Морской. Я там бываю тогда-то,—назвал мне время.—Познакомимся ближе. А теперь пойдем в зал обозревать выставку. Смотрите, как туда все потянулись и как смешно возле президента болтает руками граф Строганов.

— Тот, который в белом?

— Да, да, высохший старик.

Граф Строганов производил впечатление скелета в парадном костюме с орденами и лентами. Но меня больше интересовал сам Григорович. Узнав из дальнейшей нашей беседы, что я учился

у Ге, Григорович сообщил, что он Ге знал с давних пор.

— Еще за границей. В Италии, когда он, будучи пенсионером академии, жил в Риме. Милый был человек, но меня не долюбливал.

Уходя из академии, Григорович еще раз пригласил меня заходить к нему в «Поощрение».

Академия, однако, так меня захватила и увлекла, что я никак не мог выбрать времени для «Поощрения», и увидел маститого писателя еще раз только спустя с полгода, случайно, в поезде по дороге в Петергоф, где мы опять с ним немного поговорили.

АЙВАЗОВСКИЙ.

В том же году я познакомился с Айвазовским. Это случилось на его пятидесятилетней юбилейной выставке. Я пошел смотреть его картины и увидел возле них его самого. Не особенно высокий старик с загорелым пергаментным лицом, весь в бесчисленных морщинах, с седыми бакенами, с небольшим количеством гладко причесанных волос на голове, в черном изящного покроя сюртуке,—он охотно разговаривал со всеми, кто к нему обращался. Я тоже обратился к нему, заявив, что я академист, что давно восторгаюсь его картинами, и что мне приятно видеть его самого. Айвазовский спросил мою фамилию и протянул мне руку.

— А что это у вас за форма?

На мне была обыкновенная наша академическая тужурка. Я так ему и сказал.

— И много вас в академии учится?

— Человек триста.

— И все художниками будете?!—воскликнул он.

Мы оба рассмеялись. Такое количество нам показалось чрезмерным.

Тут он начал вспоминать, как он тоже когда-то учился в академии, и, между прочим, рассказал несколько забавных эпизодов из своей академической жизни, но таких, которые, к сожалению, неудобно приводить в печати.

Один, впрочем, пожалуй, можно.

Айвазовскому, как известно, когда он учился в академии, покровительствовал Николай Первый. Однажды он взял его с собой на какую-то выставку, на которой, среди работ одного иностранного художника, выделялась великолепно исполненная пастелью головка красивой итальянки. Царь залюбовался ею и с восхищением стал говорить: «Хороша! Прелестна!..» Затем полуобернулся к Айвазовскому: «Ты как находишь?»

— Очень хороша, особенно для постели.

У Айвазовского, вместо пастель, всегда выходила постель. Получился неуместный каламбур.

Николай метнул было на него грозным взором, но увидев, что лицо Айвазовского было самое невинное, сообразил, что тут виновато его армянское произношение.

Тем не менее, несколько месяцев спустя, царь ему отплатил.

В указанное время Айвазовский писал на картине, заказанной ему царем, какую-то гречанку. Позировала для нее славившаяся в то время в Петербурге своей исключительной красотой жена одного известного адвоката. На ней была легкая туника, еле перехваченная тесемкой.

Раздался звонок. Уверенная, что Айвазовский в мастерскую никого не впустит, красавица спокойно стояла в своей позе. Айвазовский пошел сказать, что он не принимает. Но звонил как-раз тот, кому Айвазовский отказать в приеме не мог— Николай. Звякая шпорами, он, к ужасу красавицы, вошел в мастерскую, за ним растерянно следовал Айвазовский. Красавица кинулась удирать, но развязалась тесемка и туника запуталась в ногах, обнажив прелестную фигуру до самых пяток.

Когда она скрылась за ширму, и Николай, отведя глаза в сторону, заговорил с Айвазовским о своем заказе, он, между прочим, вполголоса осведомился, кто она такая. Айвазовский назвал.

— Да-а, хо-ро-ша...—протянул Николай и затем еще протяжнее добавил:—в особенности для картины... масляными красками.

МЯСОЕДОВ.

По выходе из академии я через некоторое время попал в Полтаву, где в то время на Павленках жил в своей старинной усадьбе художник Григорий Григорьевич Мясоедов. Он был в свое время в дружеских отношениях с Ге, и я поэтому пошел к нему знакомиться.

— Пришли во-время,—сказал он мне, при чем никак нельзя было понять, радушно или не радушно.—Вместе с нами пообедаете. Обед будет ровно через полчаса.

Повел затем по комнатам, показал мне свои работы. Потом мы вышли в сад, немного прошлись по аллеям, обошли двор и вернулись обратно, израсходовав на все это, вероятно, весь предобеденный срок. Оставив меня в своем кабинете, Мясоедов куда-то вышел. Прошло минут двадцать,—мне уже стало тоскливо одному в чужом помещении. Где-то слышалось звяканье ножей и вилок. Побрякивали тарелки... Получалось впечатление, что спешно накрывают на стол. Прошло

еще минут двадцать... Наконец, входит хозяин и устало чавкает ртом, что-то доедая.

— А вы что-же не пришли обедать?

Я глаза опустил.

— Да так...—оставалось мне сказать.

— Напрасно... Обед был хороший.

Рассказывали про Мясоедова и еще такие курьезы. Приехали к нему как-то раз один важный сенатор и очень известный профессор,—дело было летом. Мясоедов находился в саду, расхаживал около деревьев и пробовал дозревавшие плоды,—приехавших проводили к нему.

— Наверно, Григорий Григорьевич, хорошие у вас в саду фрукты?—предположили они, готовые, вероятно, в этом убедиться.

Григорий Григорьевич сорвал великолепную грушу и стал ее есть.

— Да-а, недурные, в особенности эти самые гливы, [1])—похвалил он грушу.

Приятный аромат ее дразнил обоняние гостей.

— Вкусны еще вон те яблоки,—указал Григорий Григорьевич усыпанную прозрачными, как белый воск, яблоками стоявшую неподалеку яблоню, но не сказал при этом: попробуйте.

Гостям оставалось только смотреть, как пробовал их сам хозяин. По его понятиям, очевидно, выходило так: раз фрукты есть, и хозяин их ест и гостям указывает, какие вкусны, то, значит,

---

[1]) Особый сорт груш.

можно их есть и гостям; раз приглашение к обеду сделано и при этом сказано, что он будет ровно через полчаса, значит, ровно через полчаса нужно идти к столу, а не оставаться где-то в другой комнате и ждать вторичного приглашения. Резонно, может-быть, но несколько необычно.

Еще рассказывали, как он своеобразно женился.

В один летний день с утра светило солнце, а потом набежали тучи и надолго пошел дождь. На даче сенатора Кривцова, где-то под Москвой или под Петербургом, сидели на веранде, увитой диким виноградом, сам Кривцов, его жена и их дочь; пред их глазами растилался холмистый простор. Вдруг на одном из холмов показалась странная группа: небольшая лошадь и верхом на ней изрядного роста какой-то субъект с косматой головой, под огромной шляпой, достававший ногами до земли, и, казалось, немного помогавший ими лошади: в руках он держал невероятной величины зонтик, под которым вполне укрывались и он, и его лошадь; сбоку у него болтался какой-то ящик. Группа эта двигалась прямо к даче. Кривцовы соскочили с мест и с любопытством стали ждать.

— Дон-Кихот, что-ли? Но где же его Санчо-Пансо?—смеялся Кривцов.

Через несколько минут этот Дон-Кихот приблизился к даче, выпустил из-под себя лошадь, привязал ее к изгороди, открыл калитку и, складывая

на ходу свой невероятный зонтик и болтая по воздуху висевшей на ремнях шкатулкой, направился к глядевшим на него Кривцовым.

— Пожалуйста,—поднялся он к ним по ступенькам на веранду, оставив зонтик внизу,—лошади дайте место, а мне переодеться: мы смокли.

Кривцовы беспрекословно сделали и то, и другое. И только тогда узнали, кто этот оригинал, когда он, переодевшись и отдохнув немного, вышел к ним.

— Я художник Мясоедов,—сообщил он не без важности в тоне.—Выехал на этюды,—было солнце, а потом пошел дождь и помешал мне работать.

За обедом предложил:

— Давайте напишу с вас или с вашей жены портрет.

— А лучше с дочери,—ответил Кривцов.

— Все-равно: напишу и с дочери.

Через несколько дней дочь вдруг заявила матери:

— Мамочка, мы друг друга полюбили, и он предлагает мне с ним жить.

— То-есть, как это—с ним жить?

— Как вы с папой.

— Без венца?

— Он говорит: это все-равно.

— Ну, нет, голубушка: это не все-равно. Без венца мы не позволим. Мы с папой повенчаны.

— Так я так ему и скажу.

— Так и скажи.

На это Мясоедов ответил:

— Все-равно, можно и с венцом.

Когда я увидел у Мясоедова репинский этюд, с которого автор «Ивана Грозного» писал самого Грозного,—это был замечательный психологический набросок с выразительного лица Мясоедова,—лучшего Ивана Грозного едва ли сумел бы представить даже самый опытный актер,—я как-будто понял, почему Кривцова, выйдя за него замуж, жила вместе с ним не очень долго.

* * *

По совету Мясоедова я открыл в Полтаве рисовальную школу. «Хлеб за животом не ходит»,—резюмировал он. Вдобавок, Мясоедов снабдил меня гипсами, которых у него было достаточное количество, так как он раньше тоже имел в Полтаве рисовальную школу. А уезжая из Полтавы на зиму в Москву, он и дом свой предоставил мне для жилья.

Моя рисовальная школа в Полтаве, однако, не упрочилась. Ее очень скоро заполнили разные княжны, графские, генеральские, губернаторские дочери, вице-губернаторские племянницы, офицеры,—но в ней почти не было учеников таких, к каким я привык в школе Мурашко и в академии. Вследствие этого, вместо серьезного рисования, у меня в классах шел флирт. Плата за учение вносилась не малая, доход школы покрывал все рас-

ходы и давал солидный остаток на жизнь, но мне он был неприятен, точно я получал его не от учебного, а от увеселительного заведения. И я через полтора года эту школу закрыл.

В течении этих полутора лет я некоторое время принимал участье в местной прессе, главным образом, в «Полтавском Вестнике», выходившем под редакцией чиновника особых поручений Иваненко, который охотно печатал не только мои рассказы, очерки и критические статьи, но даже и стихи. В то же время я отдавал не мало сил и местному драматическому кружку, участвуя в нем и как актер, и как художник. Иваненко в своей газете не раз об этом помещал лестные для меня отзывы. Но это было до тех пор, пока я однажды на его просьбу написать для устраиваемого губернаторшей спектакля бесплатную декорацию не ответил отказом. «Напрасно», сказал он на это. «Рука руку моет». И перестал меня печатать. Что я после этого ни предлагал, оказывалось «негодным, слабым». Тогда я решил уличить его в недобропорядочности. Порылся в старых журналах, списал прекрасное стихотворение Якова Полонского и, без обозначения—чье, послал его, под видом своего, Иваненко с запиской—сообщить мне, если не подойдет—почему. Иваненко синим карандашем размашисто написал: «Очен слабое, бездарное», и дважды подчеркнул. Через несколько дней мне представился удобный случай показать ему в при-

сутствии нескольких видных лиц это стихотворение в печатном виде и его редакторскую надпись на списанном. Конфуз получился изрядный.

Как раз в этот период вышла из печати выпущенная Шиндлером моя книжечка «Свободная женщина».

* * *

Из Полтавы мне захотелось поехать домой, и я зиму и часть весны провел у себя. Затем месяца два жил в Гомеле и лето—в Киеве. В начале осени решил перебраться в Петербург, по дороге заехал в Москву. Денег с собой я вез очень мало, но и те у меня в Москве украли. В тот же день, чтобы немного рассеяться, я вздумал пойти в Храм Христа Спасителя, посмотреть живопись. На обратном пути в начале Пречистенского бульвара я увидел на одном из домов надпись: «Канцелярия попечителя учебного округа». Меня внезапно потянуло туда любопытство, действительно ли я, как академист, имею право быть учителем искусств в гимназии. Шел уже сентябрь, все учебные заведения давно уже вели занятия и все вакантные должности учителей должны были быть замещены. Опасность нарваться на свободную вакансию исключалась. Можно было смело зайти и поговорить, развлечь себя немного. По неопытности, я пожелал видеть самого попечителя учебного округа. И тот, узнав, что я академист, заявил, что академисты у них ценятся на вес золота и предложил мне занять сво-

бодное место учителя искусств в Бежецке или Малоархангельске. Я согласился. Мне вдруг стало интересно побыть в роли учителя. И я избрал Малоархангельск.

Через несколько дней я уже был там. Но что это оказался за город!.. Глушь невероятная! Нравы... Щедрину бы туда! Спустя месяца три, я попросился на освободившуюся вакансию в Елец. Но и там оказалось почти тоже самое. Тогда я попытался еще перевестись в Епифань, где когда-то в городском училище учительствовал Глеб Успенский. В Епифани продержался, кажется, свыше года, больше не мог.

И вернулся с удовольствием в Петербург. От учительской среды осталось у меня впечатление самое мрачное: мне казалось, что я побывал среди каких-то калек, с виду похожих на нормальных людей, но по душевному складу—горбатых, кривобоких, ничего, кроме своего предмета не знающих и страшно скучных.

* * *

В Петербурге устроился в «Биржевых Ведомостях», стал печатать рассказы, разные статьи. Начал заводить литературные знакомства, заходить к Мордовцеву, Немирович-Данченко, Баранцевичу, Александру Плещееву и Ясинскому. Особенным вниманием я пользовался у Мордовцева. Старик мне много читал украинских стихов, поэм, думок и, между прочим, раз прочел одну старинную

песню, в которой красной нитью фигурировал какой-то Пархоменко. На одной из подаренных мне своих книг—на книге о Петре Великом—Мордовцев сделал надпись: «Иванові Кирилловичу Пархоменку вид старої собаки на незабудь. Данило Мордовцев».

Немировича-Данченко, Плещеева и Баранцевича я зарисовывал. Баранцевича даже написал красками за письменным столом в кабинете (воспроизведен в «Живописном Обозрении»). И это зародило во мне мысль приступить со временем к созданию целой галлереи писательских портретов. Вскоре эту мысль поддержал и печатавшийся тогда в «Биржевых Ведомостях» Федор Фальковский.

— Рисуйте портреты хороших писателей. Это будет очень ценно. Начните с меня,—советовал он.

Иногда я помещал в «Биржевых Ведомостях» и рисунки. Но больше я давал их в «Шут», «Осколки», «Стрекозу»—там за них лучше платили. По литературе я работал также и в «Новостях», «Нашей Жизни», «Товарище», «Речи» и даже «Руси».

1905—1906 г.г.

Через год поехал на короткое время в Новгород-Северск и был там задержан всеобщей забастовкой и последующими событиями 1905 года. В Новгород-Северске затеял-было газету под названием «Путь», но распоряжением генерала Пантелеева, облеченного тогда в том крае особыми полномочиями, затея моя немедленно была подрезана с первого же номера.

В Новгород-Северске я был свидетелем момента, с которого начался и произошел в городе погром. Когда в начале забастовки представители города, во главе с прибывшим в Новгород-Северск местным помещиком, губернским предводителем дворянства князем Голицыным, (это, впрочем, был милейший человек, тот самый, который потом долгое время возглавлял в Москве Румянцевский музей в качестве директора и во многих высококультурных учреждениях состоял весьма деятельным и полезным членом), решили организовать в городе на всякий случай самооборону, я по принятии этого решения вышел вместе с Голицыным на

улицу. Неподалеку, на перекрестке шел митинг. На руках, над головами людей, ораторствовал молодой бундовец, портной. Охрипшим голосом он возбужденно кричал, что теперь больше не будет у нас хозяев, не будет больше Николаев и т. д. В толпе слышались угрожающие протесты. Откуда-то взялся напиравший на собравшихся ломовик с громадной лошадью и громоздкой телегой. Его повернули обратно. Голицын хотел что-то говорить, но ему не дали.

— Товарищ, вы уже свое сказали, теперь мы свое будем говорить,—заявил ему бундовец.

Вдруг раздались крики:

— Черносотенцы идут с кольями! Спасайтесь!

И тут-же кто-то кого-то ударил, кто-то вскрикнул; затрещало несколько сухих револьверных выстрелов, послышался отчаянный женский визг, поднялась суматоха... и через минуту на перекрестке не осталось ни одного человека. А еще через несколько минут уже слышался по городу грохот погрома.

Полоса погромов в те дни была на Украине значительная; кровопролития повсюду шли ужасные. В некоторых селах били даже таких евреев, к которым никто из односельчан никогда никаких претензий не имел. Били просто потому, что везде били. Рассказывали, например, про такой погром. Недалеко от Новгород-Северска, в селе Поповке, проживал со своим семейством один единственный

еврей. Жил он в селе, как все евреи жили тогда в селах: кое-чем торговал, потихоньку продавал водку, молился богу и ничего не делал в субботу. С поповцами жил душа в душу. И вот, когда кругом шли погромы, когда запахло их духом и около Поповки, поповский еврей собрал сход и всенародно об'явил: «Дорогие мои друзья,—извините меня за такое выражение, может-быть, теперь у евреев нет друзей и это слово уже не годится, но мы с вами наших хороших отношений не портили, и я поэтому позволю себе продолжать: дорогие мои друзья, жили мы с вами в мире и согласии, никогда ничем друг друга не обижали, никогда друг другу ничего худого не делали, и жили бы так дальше. Но вы сами знаете, что теперь делается кругом. Как вам от этого отстать? Придется вам меня погромить. Так давайте мы с вами сделаем это неизбежное дело, будем так говорить, по-хорошему. У меня сейчас наберется два ведра водки. Выпейте ее себе на здоровье, чтобы знали, что Ицка против вас ничего не имеет, и сделайте свое дело». «Правильно, Ицка!.. Верно!.. Мы тебя—немного». Отправились все к Ицке, выпили у него два ведра водки и в заключение, не откладывая в долгий ящик, тут же повыбили ему все стекла в окнах. Этим и ограничились.

В Петербург я вернулся весной, когда ураган предшествовавшего года стал вводить в рамки намеченных мер успокоения. Все в нем было

будто бы попрежнему, но пахло уже каким-то новым духом. Знакомые люди были как-будто все теже, но говорили уже по-иному: в них уже сказывалось чувство собственного достоинства, они уже возмущались и повышали голос не только за себя, но и за других. В такой атмосфере поднялась и самодеятельность их, больше чувствовалось всюду работы, интереса к ее ходу и результатам.

* * *

Мне вскоре захотелось посмотреть, то же ли делается и в других местах. И я, переговорив с редактором «Биржевых Ведомостей» Бонди относительно корреспондирования, отправился в путешествие. У меня было намерение нарядиться рабочим, и на фабриках, заводах, а также в деревнях—среди народа—узнавать, выведывать, что между ними говорится и чего люди хотят. Намерение свое я отчасти осуществил, побывал на Шостенском пороховом заводе, затем в Конотопе и в двух-трех селеньях, затем в Чернигове, и дал в печать кое-какие очерки.

В конце-концов я попал в Полтаву, где в то время жил Короленко, и стал у него бывать. Писатель увлекался издававшейся в Полтаве под его руководством газетой и много уделял ей своей писательской деятельности. В досужее время мы с ним почти каждый день ходили на Ворксду купаться, при чем Владимир Галактионович держал себя в воде гораздо резвее, чем на суше: нырял,

плавал, делал разные трюки, смеялся. Но иногда он вдруг спохватывался, что он все же большой писатель, и делался серьезным, немного даже важным. Это выходило у него очень мило.

В это время в Полтаве я свел знакомство с архиереем Иоанном Смирновым — очень душевным и умным человеком. Мне было интересно наблюдать его в его повседневной жизни, в среде подобострастия и трепета духовных лиц пред его преосвященством. Иногда я с ним ездил по городу, и это видело духовенство, которое потом всюду мне при встрече кланялось. Иоанну был тогда поручен синодом, что-ли—не знаю—надзор за приведением в порядок Шведской могилы к приближавшемуся двухсотлетию Полтавского боя. Могила от Полтавы находится верстах в десяти, двенадцати. Иоанн иногда приглашал туда и меня; я эти приглашения принимал с удовольствием: мне нравилось ездить на сытых архиерейских лошадях, сидя рядом с архиереем в его фаэтоне. Перед одной из таких поездок произошло раз следующее: Иоанн прислал за мной свой экипаж. Я подкатил. Вошел в дом. В большой приемной застал какого-то протоиерея, ростом чуть не в сажень, который при моем появлении поднялся с места и пересек мне дорогу.

— Извиняюсь, вы изволите идти к его преосвященству?

— Да.

Протоиерей подобострастно согнул спину.

— Это, значит, вы поедете с ним на Шведскую могилу?

— Да.

Протоиерей еще больше принизился.

— А скажите, вы кто же будете его преосвященству—родственник какой, что ли?..

— Нет, просто так... человек,—уклонился я от точного ответа.

Протоиерей преобразился. Сейчас же его лицо приняло важный, надменный вид, и спина его выгнулась в обратную сторону, так что вперед выступил значительного об'ема живот, по которому он степенно провел рукой.

— А как вы здесь,—заговорил он другим голосом, вместо заискивающего тенорка,—требующим ответа басом,—по очереди или...

Я рассмеялся.

— Нет, я не такой человек, который прислуживает, а...

В это время вошел архиерей и дружески протянул мне руку. Протоиерей опять подобострастно согнул свою спину и подошел к его преосвященству под благословение.

— Подожди, подожди, я через час вернусь,— был ему приказ.

Мы поехали.

Я сейчас же рассказал Иоанну о случившемся курьезе.

Иоанн смеялся.

— Вот какое отношение у людей к человеку,— покачивал он головой.

В ПАРИЖЕ.

В конце лета, вернувшись в Петербург, я вздумал поехать в Париж. Языка я не знал, но я этому не придавал большого значения. И когда я туда приехал, я убедился, что был прав. В Париже, оказалось, можно жить и не зная французского языка. Достаточно для этого, как меня уверяла одна молодая француженка, уметь жестикулировать. Иногда я все-таки прибегал к небольшой книжечке «Русский во Франции», но и с ней без курьезов не обходилось. Как-то раз, захотелось мне купить зонтик; заучив предварительно по «Русскому во Франции» несколько соответствующих фраз, я отправился в ближайший галантерейный магазин и:

— Бонжур! [1]).

— Бонжур, мосье! [2])

Окинув внутренность магазина внимательным взором, хотел увидеть какой-нибудь зонтик и, указав на него, сказать подходящую фразу. Но зонтиков на виду не было. Я растерялся.

---

[1]) Здравствуйте!

[2]) Здравствуйте, господин?

— Доне муа... [1]) э...—замялся я, забыв, как по-французски зонтик.

— Ке дезире ву, мосье? [2])

— Э...—мялся я дальше.—Как его?

Приказчики готовы были меня понять. Но я растерялся окончательно и, наконец, безнадежно махнул рукой.

— Не могу вспомнить. Ну, наплевать...

— А... — догадались прикащики. — Эн параплюи? [3]).

— Вуй, вуй, [4])—обрадовался я.—Эн параплюи! «Наплевать» им помогло.

* * *

По приезде в Париж, я немедленно разыскал на рю дю Драгон академию Жюльена и заявил в бюро ее дирекции о своем желании немного в ней поработать. Мне сказали условия. Я сейчас же внес плату. И на следующий день приступил к занятиям.

В академии Жульена еще издавна было заведено всякого вступающего в ее какое-нибудь ателье приобщать к сонму учащихся. Для этого его вели в ближайшее кафе и пили на его счет кофе и пунши. При чем обыкновенно угощавшему, которому это обходилось на наши деньги рублей

---

[1]) Дайте мне...

[2]) Что прикажете вы, господин?

[3]) Зонтик?

[4]) Да, да.

в двадцать пять, тридцать, почти ничего не доставалось, так как над ним в это время всячески потешались, испытывая, так сказать, его характер. Иногда эти потехи переходили границы: если испытываемый оказывался очень обидчивым и не умел за себя постоять,—вступление его в академию очень скоро оканчивалось бегством из нее. Но зато сразу устанавливались великолепные отношения к тому, кто выходил из испытания не посрамленным.

Надо мной почему-то не потешались. Попробовали было потребовать:

— Шанте! [1])

Но я пожимал плечами и твердил:

— Же не компран па [2]).

* * *

Занятия в академии меня захватили. Начал я работать в ателье Жерве. Натура здесь менялась каждую неделю. Выбор натуры был неисчерпаемый: ежедневно приходило по несколько прекрасных молодых женщин предлагать свои услуги и, снимая с себя платье, становились пред нами во всевозможные позы. Случались фигуры, от которых не хотелось отрывать глаз.

Ателье Жерве помещалось внизу; выше находилось ателье Жан-Поль-Лорана; ученики у него были солидные, более талантливые, серьезные.

[1]) Пойте!

[2]) Я не понимаю.

Меня это прельстило, и я вскоре перешел туда. Лоран отсутствовал, он был еще в летнем отпуску, его заменяли Шомер и Баше—известные и талантливые художники и великолепные преподаватели. Но вот явился Лоран. Его облик я уже знал по бюсту работы Родэна, находящемуся в Люксембургском Музее. Ателье огласилось радостными рукоплесканиями и возгласами приветствия. Маститый художник, улыбаясь, обошел учеников, бегло просмотрел их работы, взглянул и на мою. Вдруг его взор упал на стену. Я во время перерывов набрасывал на ней головы товарищей. Лоран к ним направил свои шаги.

— Это кто писал?

На меня, как стрелы, указали десятки рук:

— Русский.

Лоран принялся их разбирать и хвалить и произнес около них чуть не целую лекцию. В заключение сказал, что его многие художники хотели изобразить, но он всем отказывал,—согласился позировать только Родэну, да своему сыну Альберту, и больше никому; если же я пожелаю, он готов будет позировать и мне.

Мог ли я не пожелать?

На следующий день в кабинете Лорана меня ждали полотно и он сам. С трепетом, как говорится, и благоговением я взялся за кисти и палитру.

— Без контура?—удивился Лоран, когда я сразу же стал накладывать на полотно краски.

— Я всегда пишу без контура.

— Смело, чорт возьми! Но что из этого может выйти?

Лоран сидел предо мной в пальто и шляпе, немного приподняв голову. За стеклянной дверью слышалось шушуканье любопытствующих товарищей. Я ни на что не обращал внимания и весь был поглощен только своей работой. Красок не жалел, энергии не сдерживал. И меньше, чем за час, записал все полотно. Даже сам удивился такой скорости.

— Готово.

Лоран недоверчиво встал и подошел к полотну. Но тотчас-же по его лицу расплылось удовольствие. В это время к нам вошли Шомер и Баше. Оба принялись крепко пожимать мне руки.

— Но он пишет, как дьявол!—воскликнул им Лоран.

Через несколько минут меня качали товарищи и кричали свои поздравления.

Затем портрет был водружен на видное место, и дирекция академии заказала для него дубовую раму.

После этого отношение ко мне товарищей приняло чрезвычайно дружеский характер. Вообще же к русским там относились неважно.

В ПЕТЕРБУРГЕ.

Вернувшись в 1908 году в Петербург, я почувствовал, что из-за границы привез с собой какое-то новое отношение к людям. Я совершенно свободно вступал в разговоры с какими-угодно генералами и большими знаменитостями и не испытывал в себе той робости, что ли, какая до поездки в Париж всегда держала меня, русского человека, по отношению к значительным людям на почтительном расстоянии Но это было недолго,—скоро я даже городовых стал побаиваться. Отчасти, может-быть, потому, что не успел я, вернувшись из-за границы, еще хорошенько оглядеться, как ко мне уже налетели полицейские, переодетые жандармы и охранники и произвели у меня ничем не мотивированный обыск.

В Петербурге за мной почему-то следили и до Парижа. Иногда с курьезами. Собрался однажды я куда-то поехать, стал у билетной кассы в очередь. Касса была еще закрыта. Очередь постепенно увеличивалась, прибывали все новые и новые пассажиры. Народу стало толпиться много. Вскоре я

обратил внимание на двух суб'ектов, которые, расхаживая взад и вперед вдоль очереди, то-и-дело искоса поглядывали на меня. Вид у них был до того хитрый и циничный, что я сразу узнал в них шпиков. Вдруг один из них, когда проходил мимо меня, приостановился и, как бы между прочим, задал мне вопрос:

— Куда вы едете?

— В Амстербаден,—ответил я совершенно спокойно.

Тот отошел, и на лице его было недоумение: а где-же такой город находится? Конечно, такого города нет нигде, но это похоже на Амстердам и Баден-Баден.

ГАЛЛЕРЕЯ ПИСАТЕЛЬСКИХ ПОРТРЕТОВ.

Как только кончилась у меня история с обыском и я мог более или менее спокойно работать, я решил приступить к давно задуманному писанию портретов писателей и начать с тех, кто тогда был более других на виду. А гремели тогда Арцыбашев, Анатолий Каменский и т. д. «Санин» Арцыбашева был прочитан всеми. «Четыре» и «Леда» Каменского чуть не заучивались наизусть.

Я начал с Арцыбашева. Мастерская моя помещалась на Большой Зелениной, в доме герцога Лейхтенбергского. Писать в ней можно было что угодно и как угодно: она была очень просторная и имела верхний и боковой свет со стороны севера. На лестнице работал лифт, там же имелся телефон. Как раз напротив останавливался трамвай. Все удобства. Некоторые из писателей хотели было, чтобы я писал их не у себя, а у них на дому, но я настаивал на своем, и они в конце-концов приезжали ко мне.

Об Арцыбашеве я знал, когда ему было еще только шестнадцать лет, и он в Ахтырке пописывал

гимназисткам стихи. Одна из этих гимназисток рассказывала, что он и рисовать любил и ужасно хотел, чтобы она ему позировала в виде Евы. Потом он жил в Харькове и посещал там рисовальную школу. А затем переехал в Петербург, где держал экзамен в академию художеств, но провалился и... занялся рисованием для «Шута» каррикатур. Одновременно он начал выступать и с печатным словом, скоро его убедившим, что перо в его руках имеет больше связи с его художественным дарованием, чем карандаш.

Человек он был, в сущности, хороший, компанейский, и всегда при нем кто-нибудь состоял. На сеанс, впрочем, являлся один, так как я не могу сосредоточенно работать, когда кроме позирующего, тут же торчит еще кто-нибудь. Против разговоров во время работы я ничего не имел, и Арцыбашев этим пользовался вполне. Много говорил о своих успехах, о своих литературных намерениях, о том, что Леонид Андреев стал ему меньше нравиться и о том, что некоторые балерины все-таки недурно танцуют. Мало только говорил о музыке.

— Не любите ее, что-ли?

— Да нет, просто... не всякая стоит внимания. Раз меня в Крыму одни великосветские барышни целый день повсюду водили, а потом привели к себе и стали угощать музыкой. Я есть ужасно хотел, а они мне—Грига. Так я с тех пор этого

Грига так возненавидел, что теперь не только его, а даже и о нем слушать не хочу.

Позировал мне Арцыбашев в красной рубашке, с темносерым пальто в накидку и черной широкополой шляпе. На носу пенсне.

Вторым позировал Баранцевич. Кряжистый, коренастый, вечно волнующийся и почти ничем не довольный, он по-детски расплывался в улыбку, когда видел, как из хаоса беспорядочных мазков на полотне постепенно возникали черты его лица.

— Забавная эта штука!—говорил он.

И как только кончался сеанс, сейчас же спешил домой.

— Ждет работа.

Дома он был гостеприимен и любил побеседовать. Но и у себя он иногда вдруг снимался с места и уходил за свой письменный стол, (подаренный ему в день юбилея почитателями).

Почти таким же он был и в Саблино, в своем дачном домике, который он всячески обстраивал, огораживал и окружал цветами и овощами, хотя последними больше занималась его трудолюбивая жена—Дарья Николаевна.

Детей у Баранцевича было четверо, но все они уже были взрослые и почти ничем его не обременяли.

После Баранцевича я писал поэта Александра Рославлева. За ним—Фофанова.

ФОФАНОВ.

Фофанов жил недалеко от меня, почти по соседству, на углу Барочной и Петрозаводской. Когда я к нему в первый раз заглянул, я поразился той ужасной обстановкой, среди которой он творил свои «Звезды ясные». Три небольшие грязные комнаты были завалены разной рухлядью, старой мебелью, битой посудой, бутылками и производили впечатление невероятного убожества. На большом столе, на котором, может-быть ,и спали, и пили, и ели, и стихи писали, рядом с жестяным чайником лежала полуразорванная калоша, с воткнутой в нее толстой иголкой, и свидетельствовал о скудости питания недоеденный кусок черного хлеба. На подоконнике на тарелке сохло несколько надкушенных кусочков селедки, тут же стояли две пустые бутылки из-под пива, и одна из-под водки, и между ними, как ребенок между взрослыми, совсем маленькая пустая сотка. На поломанных стульях, на грязных незастланных кроватях валялось тряпье, долженствовавшее при напяливании на чьи-нибудь плечи

изображать из себя одежду. И возле разбитого зеркала, на гвозде, на котором раньше, может-быть, висела какая-нибудь картина, печально опускал рукава дубленый тулуп, в котором вечно пьяный Фофанов в морозные дни носился по редакциям за гонораром и авансом.

При моем появлении,—дверь в квартиру была не заперта,—в первой комнате с кровати поднялся унылого вида, тощий, длинноволосый юноша, почти полураздетый. Раскрыл рот, уставился.

— Константин Михайлович дома?—спросил я у него.

— Дома. Пожалуйте... Я его сын.—Затем он повернул в сторону голову:—Папа, тебя спрашивают!

Из следующей комнаты показался бритый, солдатского типа, с рыжими усами, тоже тощий, шатающийся, точно развинченный, мужчина лет сорока пяти. Он тоже был почти полураздет.

— А...—направился он ко мне с любезно протянутой рукой, при чем от него еще на далеком расстоянии несло перегаром водки.—Здравствуйте! Чем могу?

— Захотел с вами познакомиться, Константин Михайлович. Я такой-то (назвал ему свою специальность и фамилию). Пишу сейчас портреты писателей и вас хочу написать.

Фофанов заволновался:

— Очень рад! Очень рад! Меня и Репин писал Видали?

— Только в репродукции. Чудный портрет!

— Кум мой. Он у меня крестил Костю,—указал он на сына.—Это у меня тоже поэт, только сумасшедший.

Костя широко улыбнулся.

— Я пишу под псевдонимом — Константин Олимпов,—осведомил он.

Фофанов тем временем подставил мне стул.

— Садитесь, пожалуйста!

Я сел.

— Как же вы с меня будете писать?—опечалился он.—Я обыкновенно всегда хожу с бородой, а сейчас, как видите, бритый. Борька, сукин сын, вырвал мне бороду.

— Какой Борька?

— Старший сын. Напился и полез ко мне драться.

В это время из третьей комнаты выглянул еще один юноша.

— Вот он!—указал на него Фофанов.—Еще больше сумасшедший, чем Костя. У них и мать сумасшедшая. Седьмой раз уже в сумасшедшем доме сидит.

— Ты тоже сидел,—напомнил ему Боря.

Но Фофанов живо обратился к Косте.

— Сбегай-ка за пивом!

Костя кинулся облачаться; я его остановил.

— Не надо. Я к вам сейчас на несколько минут. Лучше в другой раз.

— По одному стакану...

— Нет, нет...

— Очень жаль,—пожалел Фофанов самым искренним образом, потому-что всегда был рад с кем-нибудь выпить.

— Большая-ли у вас семья, Константин Михайлович?

— Считайте: жена—Лидия Константиновна, дочери: Оля, Катя, Лида, Соня, Настя, Варя и сыновья: Боря, Костя и Гриша. Я—сам одиннадцатый.

Такую уйму прокормить!.. Но, к счастью, поэт был от этого в значительной степени освобожден. Его дети почти все, за исключением двух старших сыновей, находились в приютах принца Ольденбургского и получали там образование. Жена значительную часть своей супружеской жизни проводила в больнице святого Николая чудотворца.

Потом я с этой женщиной познакомился. Бывшая учительница, очень душевная, религиозная и романически настроенная, она искала в жизни счастья. Она искала его сначала в молодости своего мужа, в его поэзии, в его вдохновенных порывах, в экстазе, в слезах, с какими он напевно читал ей свои прекрасные стихи, потом в его приятелях, собутыльниках и, наконец, в собственном мире, который в ней образовался в виде разных неудовлетворенных желаний, надежд и грез.

О ней Фофанов кричал:

— Вы не знаете, что это за Мессалина! Вы не знаете, что это за женщина!..

Позировал Фофанов у меня очень плохо: он или засыпал, или, разболтавшись о чем-нибудь, вертелся, как юла. Приходилось его постоянно возвращать к позе.

Многие из приезжавших ко мне писателей его знали, но были и такие, которые его видели в первый раз и поражались несоответствием его убогой и неприятной внешности с его богатым очаровательным поэтическим дарованием. А одна великосветская дама, которая, будучи институткой, представляла себе его образ ангелоподобным, увидев его у меня таким, каким он, пьяный и безобразный, отталкивал от себя даже и друзей, целый вечер дома плакала и потом долгое время всем рассказывала, какой ужасный этот Фофанов!

В пьяном виде Фофанов держать себя прилично не мог, и сквернословия из его уст сыпались иногда в таком обилии, что его приходилось круто обрывать.

Недостаточно вежливы были иногда и его встречи у меня с некоторыми писателями. Например, когда я знакомил его с Таном, он сделал смеющуюся рожу и произнес:

— Тан—орангутанг!

Или, когда он встретился у меня с Анатолием Каменским, приехавшим ко мне одетым по последней моде и идеально причесанным, он весьма непочтительно взбил ему на голове волосы. Смутившийся Каменский только сказал:

— Константин Михайлович, вы мне испортили прическу.

Так же бесцеремонно поступил он у меня и с Чириковым. Услышав его фамилию, вместо того, чтобы ответить рукопожатием на протянутую к нему руку Чирикова, он вскинул свои руки на бедра и шутливо задекламировал:

— Чижик-пыжик, где ты был?..

Что касается лично меня, то он на протяжении почти трех лет нашего знакомства ни разу не позволил себе ничего лишнего, если не считать бесконечных записок через каждые четыре-пять дней о том, что в доме нет ни копейки денег, не на что купить керосину, или, что Гриша — младший его сын—именинник, к нему пришли товарищи, а угостить их нечем, или, что надо купить хлеба, уплатить хоть немного за квартиру...

Иногда и Литературный Фонд избирал меня посредником при расходовании отпускавшихся ему в пособие денег. Раз я на такие деньги купил ему хорошее пальто, так как он таскал на себе какую-то невозможную рвань, но, увы, через несколько дней оно оказалось пропитым.

ТРИ ДНЯ У ТОЛСТОГО.

Моя галлерея насчитывала уже больше двадцати портретов, когда я написал Льву Николаевичу Толстому о желании приехать к нему в Ясную Поляну писать его портрет и получил от него до минимума краткое письмо:

«Милости просим. Лев Толстой. 10 июля, 1909».

Одновременно пришло письмо и от Софьи Андреевны:

«Лев Николаевич получил ваше письмо и сказал мне, что будет отвечать вам; повидимому, он ничего не имеет против вашего посещения, и мой совет приезжать сейчас-же, так как он здоров, а что еще будет в сентябре—неизвестно».

Я писал, что хотел бы приехать в сентябре.

Разумеется, я, как только получил эти письма, сейчас-же и собрался. Взял шкатулку с красками, складной мольберт, два подрамника с натянутым на них загрунтованным полотном, и 19-го июля, утром, приехал в Ясную Поляну. Меня встретил молодой, русоголовый, с небольшой подстриженной бородкой, с бледным, но оживленным лицом,

одетый в простую синюю рубаху, подвязанную поясом, Николай Николаевич Гусев, секретарь Льва Николаевича. Он сейчас же отвел меня в приготовленную для меня комнату и затем, после нескольких слов на мои расспросы о Льве Николаевиче, пригласил меня на веранду пить чай.

Через час, приблизительно, я увиделся с Софьей Андреевной и узнал от нее, что Лев Николаевич чувствует себя хорошо и, вероятно, охотно будет позировать. Это мне было приятно, так как недели за три до этого я заезжал в Ясную Поляну (проездом) и говорил Софье Адреевне—в присутствии находившегося тогда в Ясной Поляне Льва Львовича—о своем желании написать портрет Льва Николаевича. Лев Львович решительно тогда заявил, что его отец не станет мне позировать.

— Почему?

— Да потому, что он и Репину уже лет пять, как отказывает в этом. Самое большее, что он мог бы вам позволить, так это только посмотреть на него и написать его по памяти.

Лев Николаевич гостил тогда в Кочетах у Татьяны Львовны.

Сообщив мне, что здоровье у Льва Николаевича прекрасное, Софья Андреевна поделилась со мной своей тревогой по поводу намерения Льва Николаевича отправиться в Стокгольм на конгресс мира.

— Не знаю, как его и отговорить. Ведь плыть туда надо от Либавы, так как в Петербурге теперь

холера и требуется от всех, кто едет в Швецию через Петербург, чтобы они выдержали на судне девятидневный карантин. Главное, чего я боюсь, так это—качки: Лев Николаевич ее не перенесет.

Вначале одиннадцатого, когда приблизилось время завтрака, большая столовая ясно-полянского дома стала наполняться: пришли гостившие в Ясной Поляне Денисенко—муж (председатель гражданской новочеркасской судебной палаты) и жена (племянница Льва Николаевича)—со своими детьми: очень миленькой дочуркой лет десяти-одиннадцати и не по летам высоким двенадцатилетним сыном, затем Николай Николаевич Гусев, доктор Душан Петрович Маковицкий, Софья Андреевна и компаньонка Александры Львовны—Варвара Михайловна Феоктистова (Александра Львовна чувствовала себя нездоровой и оставалась в своей комнате) и, наконец, Лев Николаевич—живой, бодрый, с легкой, едва уловимой доброжелательной улыбкой на губах, одетый в светлую блузу, перевязанную ремнем.

После обычных слов приветствий Лев Николаевич заговорил о моей галлерее и поинтересовался, кто уже написан. Я перечислил, кого вспомнил, приблизительно, человек пятнадцать, при чем Лев Николаевич спрашивал, что и в каком духе они пишут.

— Сколько их у вас теперь?

— Около двадцати.

— А сколько войдет еще?

— Еще, вероятно, человек шестьдесят—семьдесят.

— А Короленко у вас будет?

— Как-же... непременно.

— Он нужен. Это хороший писатель. Его непременно напишите. Его и Куприна. Жаль, что Чехова не успели написать.

Минуту помолчав, Лев Николаевич вдруг спросил:

— Когда же начнете меня?

— Могу хоть сейчас.

— Ах, как бы я желала,—вырвалось у Софьи Андреевны,—чтобы хоть вам удался Лев Николаевич, а то ни один портрет не удовлетворяет нас вполне. У одного только Крамского похож, но он слишком давний, молодых лет.

Лев Николаевич, пока Софья Андреевна это говорила, не сводил с меня глаз; он, очевидно, ждал, что я на ее слова отвечу. Но что я мог ответить?

К концу завтрака прислуживавший за столом лакей доложил, что явилась группа каких-то экскурсантов и просит Льва Николаевича их принять.

— Откуда они?—спросил Лев Николаевич.

— Из Москвы: ученики каких-то мастерских.

— Хорошо. Я сейчас выйду.

У дома оказалась целая группа молодежи, человек тридцать с лишним. Загорелые, обветренные лица их были полны молодого задора и ды-

шали чем-то затаенным, готовым сейчас же вырваться наружу и удивить.

При появлении Льва Николаевича все экскурсанты сняли шапки и тесно скучились возле него, у самого крыльца.

— Вы откуда?—обратился к ним Лев Николаевич бодрым голосом, в котором одновременно звучала и глубокая, нежная ласка, какой он, вероятно, всегда встречал впервые к нему обращавшихся людей и некоторая суховатая сдержанность, естественная, когда еще не знаешь, с кем имеешь дело.

Они ответили.

И сейчас же началась беседа, производившая вначале впечатление, будто два-три вожака экскурсантов задались целью проэкзаменовать великого мыслителя и доказать ему, что они в своих взглядах, иначе обращенных на вещи, чем у Толстого, стоят на более верной точке зрения, чем он. А один из них почему-то особенно упорно вертел свою речь на протоплазме, произнося это слово бесчисленное множество раз во всех видах и падежах.

— Да вы мне о протоплазме не говорите,— оборвал его Лев Николаевич с неудовольствием,— а говорите о деле, о нужном, о том, что нам с вами ближе всего.

Мало-по-малу, после этих слов беседа приняла ровный и толковый характер и преобладающим голосом в ней, а затем и совсем доминирую-

щим, оказался в конце-концов голос Льва Николаевича. Понемногу молодые, вз'ерошенные, беспокойные и задорные вначале лица юношей под конец умилились и приняли хороший и привлекательный вид. Чувствовалось, что они Толстым прониклись.

— Лев Николаевич,—произнес вдруг один из них нерешительным, смущенным тоном, когда беседа пришла к концу:—нам бы хотелось сняться вместе с вами—разрешите нам это. У нас и фотографический аппарат имеется.

Лев Николаевич улыбнулся и тотчас-же согласился.

Но аппарат у них оказался маленький и не совсем исправный. Софья Андреевна предложила свой.

В размещении группы, по приглашению Льва Николаевича, и мне, как художнику, пришлось принять участие.

Снявшись с экскурсантами и снабдив их своими книгами, Лев Николаевич пожелал им счастливого пути и поднялся к себе, в кабинет, бросив мне мимоходом с улыбкой, как бы в полусерьез:

— Пользуйтесь случаем, пишите, пока я свободен.

В пять-шесть минут я установил в столовой свой складной мольберт, поместил на нем подрамник с полотном, достал из шкатулки палитру

с красками, кисти, поставил для Льва Николаевича кресло и приготовился писать.

Лев Николаевич сел.

— Так?—осведомился, повернув лицо к свету.

Я ответил утвердительно.

— Ну, в добрый час!—пожелал он.

И я начал.

Кисти одна за другой тотчас же забегали по полотну... Я почувствовал, что вхожу в настроение, что мне хочется работать, хочется передать на полотне загорелое, обрамленное пушистой, желтовато-серой бородой лицо великого писателя, выражение его задумчиво-грустных глаз, светящуюся в них глубину души—и как можно верней, ближе к действительности, без малейших отступлений и уклонов в сторону моего представления о нем, как о великом писателе или как об апостоле мира и любви.

— Без контура?!—вырвалось вдруг у Льва Николаевича удивление, когда на чистом полотне появились в хаотическом беспорядке разнообразные мазки красок.

— Да, я всегда так пишу.

— Во-от вы какой! Это для меня ново. До сих пор я думал, что без контура нельзя. По крайней мере, сколько мне приходилось видеть, все пишут с контуром. Вот и Крамской, и Репин, и Ге,—прежде, чем взяться за краски, рисовали углем или карандашом контур, и, сколько я помню, все они возились над ним довольно долго. Может быть,

ваш парижский Жан-Поль-Лоран научил вас писать без контура?

Но мне пришлось сказать, что и маститый Жан-Поль-Лоран пишет с контуром.

— Жан-Поль-Лоран...—проговорил Лев Николаевич, как бы про себя.—Какой он умный, содержательный художник!.. Я его когда-то знал лично.

— Мне он об этом говорил,—вспомнил я.

Затем мы разговорились о Ге.

— Как живописец, он мне меньше нравился, чем как человек,—признался Лев Николаевич.—Это был удивительный энтузиаст, это был гениальный ребенок,—искренний, порывистый, нежный. И вам нужно быть довольным, что вы своими первыми шагами в изучении искусства обязаны ему.

Просидев на первый раз минут двадцать, Лев Николаевич поднялся и сказал, что уйдет на время к себе. Мимоходом он взглянул на полотно.

— Кажется, начало хорошее,—был его первый отзыв.

Следующий сеанс состоялся за два часа до обеда и длился также минут двадцать. Но за это время работа значительно подвинулась вперед.

Во время второго сеанса Денисенко сидел неподалеку от Льва Николаевича и читал вслух книжку,—не помню автора,—об ужасах тюремной жизни. Лев Николаевич слушал с большим вниманием и на его лице то-и-дело появлялось выражение сострадания и скорби, а когда в чтении встре-

чалось о чем-нибудь хорошем, трогательном, у Льва Николаевича появлялась улыбка удовлетворения и на его глазах выступали слезы.

Я этим пользовался: я изучал все эти изменения его лица и старался запечатлеть их на полотне.

За обедом Лев Николаевич рассказал о постигшем его в этот день случае, который мог бы кончиться очень печально. Совершая обычную свою предобеденную верховую поездку, на этот раз Лев Николаевич взял с собой и внука—сына Денисенко,—и отправился с ним в лес. Долго они ездили там по разным неведомым тропинкам—знакомых дорог Лев Николаевич не любил,—наконец, он заметил, что они сбились, потеряли дорогу и едут по лесу неизвестно куда. На минуту приостановились, потом опять поехали, поворачивая лошадей то в одну, то в другую сторону, и выехали на полотно железной дороги, на невысокую насыпь. Поехали по ней. Но чем дальше они ехали, тем насыпь поднималась все выше и выше. Сделав по ней версты две, Лев Николаевич вдруг подумал: «А что, если поезд?» От этого у него заколотилось сердце. Действительно, мог итти поезд, и им-бы некуда было свернуть: насыпь тянулась высокая, с обеих сторон крутая... А поезд, судя по времени, вот-вот должен-бы быть...

Софья Андреевна укоризненно качала головой, а Елена Сергеевна тянула к себе сына.

После обеда, посмотрев еще раз на мое полотно, Лев Николаевич ушел на обычный свой

послеобеденный отдых. Он унес с собой и только-что полученную почту: целый ворох писем, газет и книг.

Вечером же, когда мы все собрались в столовую, он вышел к нам с десятком писем и с каким-то свертком в руках.

— Получил письмо от художника Яна Стыки. Это известный художник?—обратился Лев Николаевич ко мне.

— Да. Это—польский. Он написал большую панораму «Голгофа»,—ответил я.

— Пишет, что посылает мне снимок со своей картины, на которой изобразил меня.. А вот и самый снимок.

Мы принялись его рассматривать. Между Львом Николаевичем и изображенным на снимке белоголовым стариком не было сходства никакого. Сюжет тоже никого не удовлетворил.

Вслед за этим Лев Николаевич прочел нам вслух несколько принесенных писем и тут же, в нашем присутствии, намечал на них ответы и передавал одно за другим Гусеву, указывая подробно, с каким письмом как поступить.

— Надо написать этому крестьянину. Он чрезвычайно умно подошел к затронутому вопросу и, видимо, болеет им.

Поздно вечером, когда я, простившись со Львом Николаевичем и остальными, ушел к себе, ко мне постучался Душан Петрович.

Не сразу, но довольно скоро мы разговорились. Душан Петрович оказался, несмотря на свою кажущуюся молчаливость, довольно словоохотливым и поведал мне, что он словак, что любит свою родину и оставшихся там близких людей. Рассказал, как увлекся идеями Толстого и приехал в Ясную Поляну на него взглянуть и как около него остался.

— Хочу быть здесь до самой его смерти.

— А как вы находите здоровье Льва Николаевича?—поинтересовался я. Самому мне Лев Николаевич показался очень крепким.

— Особенно угрожающего в его организме ничего нет: он у него очень могучий. И в значительной степени способствует этому, по-моему, вегетарианская пища, исключительно которой он уже много лет питается, и то, что он ведет правильный, регулярный образ жизни. Он всегда встает в семь-восемь часов утра и сейчас же принимается за работу. Работает до половины десятого, до десяти, затем идет на прогулку и гуляет до одиннадцати, т. е. до завтрака. Затем, если нет кого-нибудь из желающих его видеть, опять уходит к себе работать и работает до двух часов. В третьем часу садится на лошадь и отправляется в лес, на поля. Катается часа полтора. Потом, после обеда, немного отдыхает и опять принимается за работу, но уже не за творческую, а за чисто деловую— прочитывает письма, делает на них для секретаря пометки, просматривает газеты, журналы. Вечера,

до отхода ко сну, всегда посвящает общей беседе со всеми, кто находится в доме. И так каждый день.

— Скажите, Душан Петрович, почему все здесь избегают говорить о Стокгольмском конгрессе? Ведь, Лев Николаевич собирается туда ехать.

— Потому избегают об этом говорить, что Софья Андреевна из-за этого намерения Льва Николаевича переживает очень большие волнения. Сейчас у нее был на эту тему со Львом Николаевичем разговор, закончившийся ее истерикой.

На другой день Софья Андреевна оставалась в постели, у нее оказалась температура около тридцати восьми. Лев Николаевич ходил в этот день угрюмым, молчаливым. Но позировать сел, и все время глаза его были полны внутренней напряженной работы. Денисенко во время сеанса продолжал читать о тюремных ужасах. Жена его—Елена Сергеевна — неподалеку вертела в руках какую-то работу.

Входила в столовую и Александра Львовна, оправившаяся от недомогания, но пока длился сеанс, поделикатничала и к нам не подходила.

К концу сеанса приехал Михаил Львович и, поздоровавшись с отцом, тихонько прошел к Денисенко и уселся около него слушать, что он читает.

В этот день Лев Николаевич позировал три раза и, видимо, был доволен, как я его изобра-

жал. Он с любопытством подходил к полотну и простаивал перед ним по несколько минут, каждый раз произнося по моему адресу волновавшие меня одобрения.

К обеду и Софья Андреевна встала. Она тоже осталась довольна начатой работой.

Между прочим она сказала:

— На вашу долю выпало писать самого знаменитого Толстого. Когда его писал Крамской, он был менее знаменит, чем теперь: тоже самое, когда его писали потом Ге, Репин, Пастернак.

Обедать, однако, нам пришлось в этот день без Льва Николаевича и Софьи Андреевны: оба они отказались. Софья Андреевна ушла ко Льву Николаевичу в кабинет, повидимому, говорить с ним все о том же злополучном его намерении ехать в Стокгольм.

Час спустя я видел ее около дома у цветов: она ходила возле клумб и любовно собирала для Льва Николаевича букет. На мой вопрос, лучше ли ее здоровье, она с грустной улыбкой ответила:

— Нет, мне плохо. Но я бодрюсь, держу себя, чтобы не безпокоить Левушку. Мне его здоровье дороже всего. Я все волнуюсь из-за этого Стокгольма. Я не могу допустить этой поездки, а он стоит на своем, хочет ехать. Ах, он не перенесет ее.

Видя, что Софья Андреевна начинает волноваться, я поспешил перевести разговор на другую тему.

— Меня очень интересует, — заговорил я, — действительно ли Каренин написан, как некоторые утверждают, с Победоносцева?

— Нет, это только так думают. Лев Николаевич, когда писал «Анну Каренину», еще не знал Победоносцева до такой степени, чтобы мог его взять для романа. Но я его знала еще будучи молоденькой девочкой. А когда вышла за Льва Николаевича замуж, Победоносцев мне вскоре сказал: «Мне жаль вас, графиня: вы так неудачно вышли замуж. Я должен сознаться, что ваш муж на ложной дороге и кроме того—он даже не умен».

Понемногу Софья Андреевна перешла в своих воспоминаниях к Тургеневу, Гончарову, Лескову и Фету.

— С последним я вела обширную переписку. У меня хранятся целые пачки его писем. Ах, минувшие времена, как много они унесли хороших людей!

Затем она заговорила о Леониде Андрееве, Арцыбашеве, Зинаиде Гиппиус, — и ни о ком из них не сказала ни одного слова одобрения.

Вернувшись в дом, я встретился с Михаилом Львовичем. Этот младший сын великого писателя понравился мне своим простовато-добродушным лицом, сильно напоминающим портреты отца в молодости. Из разговоров с ним я не без удивления узнал, что он был добровольцем на русско-японской войне и даже участвовал в сражениях.

— А как же отец? — вырвалось у меня недоумение. — Неужели он не мог вас удержать?

— Отец мне сказал, что он понимает меня и, будучи на моем месте, поступил бы, как и я.

— Да, и я вас понимаю и на вашем месте поступил бы, как и вы. Но ведь, будучи на вашем месте, т. е. с вашим мировоззрением, с вашим пониманием вещей. А, будучи на своем месте, он, конечно не поступил бы, как вы. И не пошел бы, как вы, в земские начальники.

Незадолго до вечера мною завладел Душан Петрович. Он предложил мне пойти с ним посмотреть на то место, где Лев Николаевич завещал себя похоронить.

Мы отправились. Прошли фруктовым садом, затем лесом и взошли на небольшой косогор с группой деревьев. Солнце уже садилось; кругом все благоухало очарованием вечера, где-то таяли какие-то звуки.

— Как хорошо здесь! — восхитился я.

— Сюда Лев Николаевич приходит очень часто. Здесь, вот на этом месте, он когда-то закопал зеленую палочку. Вы, вероятно, читали, — у него есть об этом в сочинениях. Здесь он завещал его похоронить. Ах, если бы я мог, я написал бы Льва Николаевича на этом месте! Жаль, что Нестеров не написал его так,—у него бы это вышло красиво!

— А Нестеров его все таки писал?

— Да, но он, кажется, не кончил. Он написал его возле озера.

— И возле озера Лев Николаевич ему позировал?

— Нет, позировал он ему в доме. Озеро Нестеров написал потом.

Увлекшись разговорм, мы долго не сходили с косогора, а когда сошли и вернулись в дом, там уже все были в сборе и пили чай. Не было только Льва Николаевича и Софьи Андреевны. И от этого казалось, что в доме что-то происходит и всем не по себе. Почти никто ничего не говорил. Кто-то лишь проронил, кажется, Гусев, что Лев Николаевич за весь день выпил только одну чашку чаю.

Вдруг громкие женские всхлипывания со стороны комнаты Софьи Андреевны и продолжительные стоны огласили дом. Александра Львовна вскочила из-за стола и поспешила туда; за ней последовал Душан Петрович. Мы, оставшиеся за столом, конечно, решили, что с Софьей Андреевной истерика, и это нам подтвердил вернувшийся вскоре Душан Петрович.

На следующий день, утром,—это уже, значит, на третий день моего пребывания в Ясной Поляне, — Лев Николаевич вышел из своего кабинета и, отыскав меня внизу, в библиотечной комнате, сказал, что готов позировать.

Наверху нас ждал с недочитанной книгой о тюремных ужасах Денисенко. Он тотчас же, как

только Лев Николаевич уселся, и я взялся за палитру, принялся читать. В этот раз грустное выражение глаз Льва Николаевича было еще грустней, чем накануне, и я колебался: подождать ли, когда оно пройдет, сменится более радостным, или взять таким, как есть и как оно, может быть для лица Толстого наиболее характерно. Но долго останавливаться над этим не пришлось, так как понемногу я стал входить в работу и скоро забыл обо всем, видел только формы, краски и спешил их изображать на полотне.

Днем, около половины четвертого часа, я встретился со Львом Николаевичем в саду. Он, повидимому, возвращался с прогулки — на этот раз пешком. Увидев меня, он приветливо мне улыбнулся и протянул руку.

Первые его слова были о портрете, затем о Крамском, о том, как долго Крамской его писал и какое оставил о себе хорошее воспоминание.

Неподалеку от дома, при взгляде на его белые стены, испещренные темными пятнами окон, мне захотелось спросить, в которой из комнат этого дома Лев Николаевич родился.

— Ни в которой, — ответил он.

— Как... А Софья Андреевна говорила, что вы родились на том кожаном диване, который стоит у вас в кабинете и, кроме того, я где-то об этом читал.

— Да, на том диване. Но он тогда стоял вон там,—Лев Николаевич поднял палку и указал на

вершины старых высоких лип. — Вон там я родился.

Увидев мое недоумение, Лев Николаевич засмеялся и пояснил:

— Здесь, на этом месте когда-то стоял большой дом. Он еще цел, но далеко отсюда. И та комната в нем, в которой я родился, находилась как раз в том месте, куда я вам показывал.

— Теперь понятно, — произнес я. — А то я сначала думал, что вы шутите.

— На свете все понятно, — сказал Лев Николаевич и затем, после некоторой паузы, когда мы уже подходили к дому, добавил полувопросительным тоном: — немного поработаем?

Минут через пять он вошел в столовую, где я уже ждал его, сидя за мольбертом.

— Вот что, Иван Кириллович, — положил он мне руку на плечо. — Не будет ли вам удобно писать меня в кабинете? Освещение там такое же... Мне сейчас не хотелось бы сидеть здесь.

Я сказал, что мне все равно, где писать, лишь бы находиться в одинаковых условиях света.

— Вот и отлично. Давайте, я вам помогу, — протянул он было руку к мольберту с портретом. Но я поблагодарил его и в одну минуту сам перенес мольберт в кабинет. Лев Николаевич нашел все-таки чем помочь мне: вслед за мной он принес мою довольно увесистую шкатулку с красками и палитрой.

Когда мы сели, и я приступил к работе, я заметил, что по лицу Льва Николаевича в этот раз пробегали какие-то радостные, еле уловимые вспышки.

— Вы сейчас, кажется, хорошо настроены, Лев Николаевич?

— Да, это верно... — Пошевелив немного губами (я забыл отметить, что Лев Николаевич, как все старики, довольно часто шевелил губами, точно что-нибудь жевал), он добавил:

— Я ей уступил, сказал, что не поеду.

— Но, ведь, вам так хотелось ехать?

— Да, и оттого, что мне так хотелось ехать, а меня просили этого не делать и, я, наконец, уступил, мне теперь и радостно, что сумел уступить.

Как раз при этих словах полуоткрылась в кабинет дверь, и в ней показалось милое личико дочурки Денисенко.

— Дедушка, мне сюда можно?

— Войди, войди, — разрешил Лев Николаевич, и как только она вошла, привлек ее к себе и поцеловал: — Вам она не помешает? — обратился он затем ко мне.

Когда я ответил, что не помешает, он предложил ей посмотреть, как я пишу.

Маленькая Денисенко подошла и стала у меня за спиной. Стала неподвижно и не проронила ни слова. Я не видел, смотрела ли она, как я пишу или просто не спускала глаз со своего обожаемого дедушки, но чувствовалось, что за спиной у меня маленькое существо полно внимания.

Минут через десять девочка ушла, и мы остались вдвоем. Во всем доме царила тишина, лишь изредка чуть доносилось отдаленное постукивание пишущей машинки. Это Александра Львовна и Варвара Михайловна Феоктистова переписывали в нижнем этаже сочинения Льва Николаевича. Я подумал: с какой, должно быть, охотой они это делают. И тут же сказал:

— Как, вероятно, вы счастливы, Лев Николаевич, имея таких детей, которые вас так любят...

Но, признаюсь, я сказал это без полной уверенности, что в действительности это так.

Лев Николаевич пошевелил губами и на минуту остановил на мне свой взор.

— Человек больше должен быть доволен своей любовью к другим, чем любовью других к нему,— произнес он в ответ и затем добавил: — Я ценю в своих детях их доброе отношение ко мне, трогает меня заботливость жены, и люблю я их всех, но у меня есть теперь большее, чем все это: это— отрешение от всего окружающего и стремление к идеалу-совершенству. В этом стремлении теперь вся моя духовная работа.

К концу сеанса, длившегося на этот раз минут сорок, Лев Николаевич опять коснулся моей галлереи и тут же сообщил, что недавно получил от Леонида Андреева письмо, на которое ответил своим письмом, так как желал высказать ему то, что считал нужным и полезным для него.

— А вот другой писатель, тоже из этой плеяды, он, кажется, в вашей галлерее имеется, Чириков, так тот в дни революции прислал мне чуть не требование итти к революционерам помогать им воевать против правительства. Я ему ничего не ответил.

— Вы, Лев Николаевич, советуя мне писать Короленко, упомянули и Куприна...

— Да, да, я его считаю хорошим писателем: у него есть на это данные. Жаль только, что он напечатал свою «Яму»—совсем не художественную и ненужную вещь. Когда увидите его, скажите ему это.

— Он еще не приезжал к вам?

— Нет, но мне было бы приятно его видеть. Поговорите с ним...

— А признайтесь, Лев Николаевич, вам очень надоедают эти посещения?

— Не все: случаются приятные, для обеих сторон полезные, имеющие смысл. Но, вообще, я хотел бы так устроиться, чтобы не люди ко мне, а я мог приходить к ним и приносить им то, что им от меня нужно, и брать у них то, что мне нужно от них, но так, чтобы это было хорошо.

Вскоре в доме послышались голоса. Приблизилось время обеда. Лев Николаевич встал и подошел к портрету. Губы его зашевелились и произнесли несколько слов, от которых у меня на душе

вдруг стало так радостно и весело, что я готов был обнять его.

В начале обеда Лев Николаевич вошел в столовую с конвертом в руках и протянул его мне.

— Не знаю, радостная или печальная, но адресованная мне для передачи вам—телеграмма.

В этот день я ждал телеграммы, от содержания которой зависело дальнейшее мое пребывание в Ясной Поляне. По полученной телеграмме, оказавшейся радостной, все таки выходило, что я должен был уехать, о чем я тут же и об'явил, прочитав телеграмму вслух.

— По моему, — сказал Лев Николаевич, — эта телеграмма не заставляет вас уехать непременно сегодня. Вы можете остаться еще на несколько дней.

— Конечно, — присоединилась Александра Львовна и еще чьи-то голоса...

Но я стоял на своем и решительно заявил, что поеду с ночным поездом.

— А как же портрет? Вы еще не дописали блузу,—заметила Александра Львовна.

— О, это я и дома сумею сделать. Главное—лицо, а оно уже готово.

После обеда Лев Николаевич позвал меня к себе в кабинет и сказал:

— Вот вы говрите, что живете сейчас на даче недалеко от Павла Ивановича Бирюкова. Он очень милый человек, и я советую вам повидаться с ним.

Я уверен, что вы друг другу понравитесь и сойдетесь. Если хотите, я напишу ему несколько слов о вас.

— Пожалуйста, Лев Николаевич. Я давно интересуюсь им и хочу к нему с'ездить.

Лев Николаевич положил перед собой листик бумаги и быстрым характерным своим почерком написал:

«Рад случаю, милый Паша, письменно хоть пообщаться с вами. Письмо это передаст вам очень милый человек, художник Пархоменко.

Он живет на даче недалеко от вас и сам хотел, и я советовал ему повидать вас.

Что вы? Как живете материально, — духовно уверен, что хорошо.

Привет вашей жене.

Целую вас.

Л. Толстой.

21 июля».

— Ну, вот вам. И дам вам свои книги. Только вы, будьте добры, позовите сюда Гусева, я попрошу его собрать все, что у меня есть.

Явившийся Гусев исполнил желание Льва Николаевича и притащил около сорока книжек. (Помимо полного собрания, которое я получил потом от Софьи Андреевны).

— Эту дрянь, — указал Лев Николаевич на свою беллетристику, — можете не читать, а вот

эту — единственную серьезную книгу, на которую я положил много труда и на которой я вам сделаю надпись, — советую читать.

С этими словами на первом томе «Соединения, перевод и исследования 4-х евангелий» он написал:

«Ивану Кирилловичу
Пархоменко

21 июля 1909 г. Лев Толстой».

С такой же надписью дал он мне и свою фотографическую карточку.

— Если представится случай и будет время, приезжайте опять в Ясную Поляну. Я буду рад вас видеть и готов буду, если понадобится, еще позировать вам.

— Это было бы хорошо! — обрадовался я. — Как раз сегодня мне пришло в голову написать вас в кабинете за письменным столом: вы сидите за работой, на минуту подняли голову, смотрите перед собой. Глаза полны творческой мысли... Только что сам хотел вам об этом сказать... Вы меня предупредили.

— И прекрасно... Значит, все складывается так, что вам опять надо будет сюда приехать... Очень рад этому.

Тронутый всем этим, я хотел было поцеловать Льву Николаевичу руку, но он привлек меня к себе и поцеловал меня в губы.

Когда я, растроганный, вернулся в столовую от Льва Николаевича с книгами и карточкой, пред моим портретом сидела Александра Львовна, а за спиной у нее стояла Елена Сергеевна.

— Век бы не отрывалась, — проговорила Александра Львовна, — так бы все и смотрела в эти грустные глаза. И чем дольше я в них смотрю, тем больше не могу от них оторваться. Я страшно боюсь, что-бы не случилось чего-нибудь с портретом в дороге. Это была бы такая громадная потеря.

Через несколько минут Александра Львовна ушла к Софье Андреевне и вернулась с просьбой позволить ей снести портрет к матери. Не знаю, насколько хорошо могла Софья Андреевна разглядеть портрет в полутемной комнате и лежа в постели, но она нашла его удачным, — так, по крайней мере, передала мне Александра Львовна,— единственное, над чем она посоветовала мне еще немного поработать, это—губы.

Я сказал об этом Льву Николаевичу, и мы опять на несколько минут присели к мольберту.

Когда после этого портрет был еще раз показан Софье Андреевне и затем вручен мне с сообщением, что теперь и губы одобрены, я перенес его в свою комнату и там запаковал.

— Как жаль, — говорила мне потом Александра Львовна, — что вы увозите портрет с собой, не хотите оставить сохнуть у нас. Завтра приедет Таня, она бы посмотрела.

— С большой бы радостью оставил, — отвечал я искренно, — но мне хочется, пока свежи на нем краски, сейчас же, по приезде на дачу, дописать блузу, — Лев Николаевич дает мне ее с собой.

В десять часов вечера с радостным сердцем, с дорогим портретом, с подарками Льва Николаевича я выехал из Ясной Поляны.

Неделю спустя я написал Льву Николаевичу подробно, как бы я хотел его изобразить на новом портрете. В ответ получил от Александры Львовны письмо, в котором она, извещая меня, по поручению отца, что он будет рад моему приезду, пишет между прочим и о Гусеве:

«Третьего дня у нас случилось очень взволновавшее и огорчившее нас событие: Приехавшие исправник, урядник и стражники взяли Гусева. Через неделю его этапным порядком отправляют в Пермскую губернию на два года...»

По некоторым обстоятельствам мне не удалось поехать в Ясную Поляну сейчас же. Отложил до сентября и в конце августа написал Софье Андреевне, не встречается-ли препятствий к моему приезду. Она ответила очень скоро. Сообщая о том симпатичном отношении, какое я встретил в Ясной Поляне, Софья Андреевна писала: «Лев Николаевич всем рассказывает, что написанный вами его портрет есть лучший из всех... Дочь моя Саша вам писала и сообщала, что если вы желаете, Лев Нико-

лаевич согласится опять позировать, и мы приглашаем вас с радостью опять в Ясную Поляну; но не сейчас, а после 17-го сентября, а то Лев Николаевич уезжает к Черткову с Сашей, в имение Пашковых под Москвой. И я поеду туда же, а потом в Москву, так что Ясная Поляна совсем опустеет на время».

К концу-же сентября Софья Андреевна опять мне писала. На этот раз она поделилась со мной только что пережитыми тревогами и волнениями из-за Льва Николаевича:

«Не писала вам до сих пор, во-первых, потому, что до 19-го числа не была в Ясной Поляне, а вернувшись, пережила очень большую тревогу за Льва Николаевича. Его до того утомила его поездка, а главное, как последняя капля, переполнившая сосуд, это — овации на Курском вокзале, устроенные Москвой, а главное молодежью. И радостно это было, но и очень страшно: нас чуть не задавила толпа.

И после этого, уже к счастью дома, начались у Льва Николаевича обмороки, и он очень ослабел. К счастью, с нами был умный и очень сердечный, любящий Льва Николаевича, доктор Беркенгейм. Он энергично и довольно скоро привел в чувство Льва Николаевича и все эти дни пробыл при нем».

В ноябре я сообщал Софье Андреевне, что видел у фотографа Дранкова, ездившего в Москву снимать путешествие Льва Николаевича для кине-

матографа, довольно хорошие снимки, из которых мне наиболее понравились те, где схвачена бегущая на вокзале за Львом Николаевичем толпа.

Софья Андреевна на это мне ответила:

«Мы видели тоже прекрасно сделанные снимки для кинематографа, сделанные фирмой Пате. Хорошо бы, если бы Дранков привез показать свои. Льву Николаевичу очень понравились снимки Пате. Как хороши там лошади и пейзаж Ясной Поляны...»

По поводу моего желания написать еще один портрет Льва Николаевича в конце декабря я получил от Александры Львовны следующие строки:

«Благодарю вас за участие, многоуважаемый Иван Кириллович. Теперь, славу Богу, отцу лучше, и он опять вступает в свою колею занятий. Он ничего не имеет против того, чтобы вы написали его, но моя мать просит вас после праздников списаться с нею, ввиду частых недомоганий Л. Н.

Жду обещанной копии с нетерпением. Никогда ни один портрет мне не нравился так, как ваш.

Всего лучшего. С уважением

А. Толстая».

Прошло после написания портрета больше года, в течение которого мне так и не пришлось еще раз поехать в Ясную Поляну и написать Льва Николаевича в кабинете, я написал ему письмо по

религиозно-философскому вопросу. Письмо это было дослано ему из Ясной Поляны в село Кочеты, где он гостил тогда у своей старшей дочери.

Оттуда Лев Николаевич прислал мне ответ:

«12 сентября, 10 года. С. Кочеты.

Иван Кириллович.

Для того, чтобы делать добрые дела, быть радостным, надо не вспоминать свои дела, считая их добрыми, а напротив, не переставая видеть пред собой высший идеал свой — совершенство и все совершенные дела считать ничтожными, а важными и доставляющими радость считать только все дальнейшее движение по пути к идеалу — совершенству.

Лев Толстой».

Иногда мне жаль, что я не написал Льва Николаевича в его домашней обстановке, за письменным столом, в кабинете, но когда я вспоминаю, что он тяготился этой обстановкой и долгие годы рвался из нее на свободу, я перестаю жалеть.

ОСТАЛЬНЫЕ ПИСАТЕЛИ.

Кроме Толстого, Фофанова, Арцыбашева, Баранцевича и Рославлева, я писал еще следующих: Григория Петрова — один раз, когда он, будучи священником и провинившись в чем-то перед правительством, отбывал по распоряжению синода, в Чермнецком монастыре послушание, и другой раз, когда он, уже лишенный сана, в качестве растриги жил в Выборге; затем—Чирикова, Ясинского, Щепкину-Куперник.

У себя дома, это были милые люди. Ясинский, если, бывало, попадешь к нему в предобеденное время, обязательно задерживал до обеда и старался, как можно лучше, накормить. Во всякое же другое время поил чаем или кофеем. При этом он каждый раз показывал какую-нибудь новинку из своей живописи. Он недурно владел рисунком и красками и по-юношески ими увлекался. Некоторые его работы были даже на выставках. Женолюбивый мужчина, он необычайно деликатен был в обращении с женщинами и умел им прощать самые непростительные вещи.

Раз при мне один несчастный муж, небольшой писатель, жаловался ему на злокозни своей жены. Бедняга потел, перечисляя и рассказывая их, а Ясинский, внимательно слушая, сочувственно его поддерживал: «Да, да... Ах... Ай-ай-ай... Бедный вы! Это ужасно!.. Как только вы, несчастный, переносите? Невозможны — эти женщины!» И когда несчастный кончил, Ясинский ему сказал: «А все таки они милочки... нельзя от них этого отнять».

Чириков обыкновенно дома всегда шутил, но хотел казаться чрезмерно занятым своим писательством и для вящей убедительности часто хмурил лоб. Однако, бегавшие по его лицу улыбки свидетельствовали, что писательство для него не ахти какое трудное дело, а наоборот — весьма занятное удовольствие.

Со Щепкиной-Куперник мы иногда переписывались. Ее письма то из Финляндии, то с юга— откуда-нибудь, всегда дышали прелестью поэтических настроений и очень к себе располагали.

После этой тройки я писал Кузьмина-Караваева, который позировал у меня с сознанием, что он мог бы быть прекрасным министром юстиции, так как для него по этому ведомству уже готовился министерский портфель. Это определенно проскальзывало в его разговорах со мной.

Иначе держал себя Градовский, Григорий Константинович (Гамма), создатель и многолетний председатель «Кассы взаимопомощи литерато-

ров». Он ни на какое министерское положение не претендовал, но зато всякое министерство не прочь бы был разбить в пух в прах, если в нем что-нибудь ему не нравилось. Особенно враждебно он был настроен против министерства внутренних дел, чиновником которого он был при киевском генерал-губернаторе в течении нескольких лет.

За ним я писал Федора Федоровича Фидлера, переведшего много наших писателей на немецкий язык. Этот глубокий ценитель русской литературы и неутомимый собиратель всяких писательских реликвий, писем, автографов и карточек, увидев у меня блузу Толстого, засунул руку в верхний ее карман, извлек оттуда какую-то труху, о существовании которой в своем кармане Толстой, вероятно, и не подозревал, и тщательно завернул ее для своего хранилища в бумажку, сделав на ней надпись, что «находящаяся в ней труха извлечена из кармана блузы Льва Толстого».

Раз в году, в день его именин, к нему собирались все писатели, какие только в тот день находились в Петербурге, и каждый обязательно что-нибудь ему приносил: книжку, фотографию, автограф. Из всего этого, в конце-концов, образовался у него целый музей.

После Фидлера я писал Авенариуса, явившегося ко мне на первый сеанс со своей прославленной «Пчелкой Мохнаткой» и несколькими фотографиями «для подспорья», как он думал. Он был

в чине тайного советника и занимал по ведомству императрицы Марии какой-то важный пост. В общем же это был безобидный, трясшийся от времени старик.

Тан (Богораз) явился на первый сеанс с «Чукоцкими рассказами».

Затем позировали мне один за другим, а иногда и по два человека в день: Анатолий Каменский, Найденов, Будищев, Пешехонов, Морозов (шлиссельбуржец), Елпатьевский, Буренин. При чем Елпатьевский, когда раз во время его позирования явился в мастерскую Буренин, сорвался с места и, не простившись со мной, стремительно кинулся мимо Буренина в дверь, так что Буренин даже не успел его узнать и, недоуменно, у меня спросил:

— Что, это — еврей?

На другой день не мало у меня хохотал над этим явившийся на свой сеанс Милюков.

После Милюкова я писал Волынского (Флексера), Анненского, Николая Федоровича Альбова, Ремизова, Федорова Александра Митрофановича, Вячеслава Иванова и Бориса Лазаревского.

А затем поехал в Москву писать Златовратского, Боборыкина, Вересаева, Телешова. Но там я был недолго, меньше месяца.

Вернувшись, занялся Луговым и Муйжелем. Оба приезжали нарочно: первый — из Луги, второй — из Пскова. Затем приехал ко мне из своей

деревни Низовки народный поэт Дрожжин. Его тоже писал. Потом работал над Буниным, Короленко, Струве, Розановым. При чем Розанов тиснул обо мне в журнале «Новое Слово» очерк под названием «Галлерея портретов русских писателей», в которой, между прочим, сообщал: «Пархоменко так и ходит около своих портретов. Ими занята уже целая стена до потолка большой, очень высокой мастерской. Половина лиц знакомых, половина, даже больше — незнакомы. Которые знакомы — похожи. Всего лучше, по моему, Морозов (шлиссельбуржец), Изумительно взят Флексер (Волынский), сухой черный, в какой-то гимназической куртке без воротничка, и, словом, аскетом. Может же человек так засушить себя. Точно трава в гербарии, потемневшая и ломающаяся. Ни росинки сырости и мягкого. Благородное лицо Альбова и какого-то народного писателя — живописны и прелестны. Но всех выразительнее — Баранцевич: с морщинами, где-то с шишечкой-прыщиком и следами «опыта жизни» в лице. «Здравствуйте»,—говорил я мысленно.—«Ну, похоже. Ну, ладно. Берите кисти и рисуйте»...—Я сел лицом к стене, занятой портретами. Чем далее я глядел на них, тем более они мне нравились. И не отдельно, а массой. Без рам, этих несносных золотых рам, кричащих о рынке или выставке, — они являли собой что-то тихое и умное, комнатное или кабинетное. Так любитель литературы украсил-бы свой кабинет или дворец».

— Вы знаете, — провел Розанов рукой по своему новому, неизмятому еще пиджаку, когда я, набросав лицо, стал прокладывать костюм. — Это у меня костюм английский, из самого Лондона привезен и стоит сто двадцать рублей.

— Значит, над ним нужно поработать?

— Конечно, раз вещь хорошая.

Но я не совсем с ним согласился и, к великому его огорчению, набросал костюм так, что нельзя было сказать, что он именно из Англии и стоит сто двадцать рублей.

— Вы не смейтесь, батенька, — говорил мне на это Розанов серьезно. — Костюм на человеке, как он на нем сидит и какого он достоинства,— всегда показывает характер этого человека.

С этим я отчасти согласился.

Следующими после Розанова были: Немирович-Данченко, Василий Иванович, Осип Дымов—автор «Ню» и профессор Овсянико-Куликовский, всегда являвшийся ко мне со своим вином в боковом кармане смокинга, в котором он читал на Бестужевских курсах лекции.

— Тут у меня чай с ромом, — уверял он меня, делая несколько глотков прямо из бутылки, — а анафтемы-курсистки думают, что это чистое вино.

После него я писал Богучарского, который приехал на первый сеанс чуть ли не в тот день, когда его выпустили из тюрьмы. За ним последовали: Дорошевич, Ольга Шапир, Лев Шестов и Блок. Последний во время сеанса все время читал мне свои

произведения. Голос у него был мягкий, вдумчивый, слова расставлял он не густо, в растяжку, и его приятно было слушать. Такие же сеансы были у меня потом, в Риге, со знаменитым пианистом Иосифом Гофманом, который в течение четырех дней, пока я писал с него портрет, часа по три в день неустанно играл все, что только знал.

Покончив с Блоком, я поехал в Финляндию изображать Андреева. Сделать это в Петербурге было немыслимо, для этого Андрееву нужно было в течении, по крайней мере, хоть четырех дней воздерживаться от выпивки; но вне дома он этого сделать не мог: вне дома его подхватывали друзья, приятели, поклонники. Не особенно хорошо было работать и у него: друзья, приятели и поклонники не давали ему покоя и там.

Вернувшись из Финляндии, я с удовольствием писал поэта графа Голенищева-Кутузова. Этот сидел, как вкопанный, и все время сохранял принятое с первого же сеанса выражение. После него прошли: Рышков — драматург, Батюшков, Рукавишников, Гриневская, Кони.

В связи с именем Кони у меня случился курьез. В списке, составленном для меня по поручению Литературного Фонда профессорами Венгеровым, Батюшковым и писателем Короленко, имелась и фамилия одного молодого поэта. Человек он был милый, талантливый, его даже Репин писал, и мы с ним, кажется, хорошо друг к другу относились.

Но он жил на окраине Петербурга и ни разу не приехал ко мне на сеансы, несмотря на свои обещания обязательно приехать тогда-то к такому-то часу. Я уже махнул было на него рукой. Вдруг он телефонирует ко мне в то время, когда у меня позировал Кони.

— Я хочу приехать к вам во вторник на сеанс,—можно?

— Пожалуйте... Но только вы надуете опять.

— Нет, нет... Теперь обязательно.., Даю честное слово!

— Ну, смотрите...

— Будьте уверены...

— Хорошо. Буду уверен. Всяких благ пока...

— Подождите!..

И начал еще что-то говорить. Я его остановил:

— Мне некогда... У меня сейчас в мастерской Кони.

— Ах, Кони! А когда-ж ослы будут? — с'острил он.

— А вот... как приедете позировать,—получил в ответ.

Конечно, я шутя это сказал, не думая вовсе его обидеть, но он, чудак, обиделся и позировать не приехал.

Вместо него я написал Пантелева, Лонгина Федоровича, состоявшего в то время в Литературном Фонде председателем, и Максима Максимовича Ковалевского, которому сейчас-же после сеансов предстояло сидеть два месяца в тюрьме за

какое-то литературное прегрешение против правительства.

— Как же вы будете такой толстый столько времени сидеть? — смеялся я. А весил он, страшно тучный по меньшей мере, пудов десять.

— Чорт их знает! Я и сам этим озабочен,—смеялся он тоже.

Следующими пошли: Потапенко, Щеглов-Леонтьев, Клавдия Лукашевич, Горнфельд, Лихачов, Гнедич, Измайлов, Кареев, Куприн, Линев, Мамин-Сибиряк, Мякотин, Суворин и Меньшиков.

Щеглов-Леонтьев приезжал всегда в приподнято-взволнованном настроении и каждый раз что-нибудь рассказывал. В особенности много интересного говорил о Чехове, с которым долгое время был в большой дружбе. Но больше всего он, кажется, говорил о доме какого-то Иоахима, что-ли, не помню хорошо, находившемся на Мещанской улице, в котором якобы когда-то жил со своим слугой Николай Васильевич Гоголь. Я даже, по настоянию Щеглова-Леонтьева зарисовал лестницу, по которой Гоголь поднимался к себе, и комнату, в которой он жил.

Мамин-Сибиряк являлся ко мне всегда изрядно выпившим, и я его трезвым никогда не видел. Таким он вышел у меня и на портрете. Несколько раз он привозил с собой свою дочь, (ее давно уже нет в живых), ту самую Аленушку, для которой написал свои знаменитые «Аленушкины сказки». Бедная девушка с самого детства была парали-

тична, и на нее жутко было смотреть. Но нежное чувство отца было к ней безгранично.

Суворин, когда я написал ему, что хотел бы изобразить его на портрете, ответил мне телеграммой, что он, занятый серьезными делами, для таких пустяков, как его портрет, не желает терять времени. Но через несколько месяцев, подбитый Меньшиковым, приехал и стал позировать.

С Меньшиковым же вышел курьез. Привез он мне целых две больших связки всех своих сочинений: и «Начало жизни», и «Письма к ближним» и т. д. Вдруг снизу сообщили, что ко мне поднимается Суворин; Меньшиков всполошился, схватил свои книги и стал метаться по мастерской, ища глазами, куда-бы их спрятать; но так как в мастерской такого места не нашлось, он открыл дверь в ютившуюся в углу мастерской маленькую уборную и сунул их туда.

Писал я еще Михаила Кузьмина, Евтихия Карпова, Кранихфельда, Гусева-Оренбургского и т. д. И, приблизительно, за три с небольшим года написал около девяноста портретов.

* * *

Отобрав вскоре портретов пятьдесят, я устроил было в Нижнем-Новгороде пробную выставку. Мне захотелось увидеть, представляют ли портреты писателей интерес для провинциальной публики, которая читает книги, а не знает их авторов. Оказалось, — не особенно большой. Выставка посеща-

лась далеко не так, как-бы следовало. Говорили: «А что на ней смотреть? Ничего нет. Одни только писатели». Конечно, одних только писателей для привлечения внимания публики недостаточно, ей-бы даже было мало и выдающегося мастерства, она интересуется «сюжетом».

И я решил не выставлять больше в провинции «одних только писателей».

На зиму я уже в Петербург не вернулся, а поселился в Москве и прожил в ней около пяти месяцев, не завязав при этом ни с кем из местных художников и писателей никаких уз дружбы или приятельства. Художники и писатели Москвы в то время жили в ней своей собственной замкнутой жизнью, может-быть, внутри себя и очень дружной и согласной, но к собратьям из Петербурга относились сдержанно и об'ятий своих пред ними не распростирали. Если же и делали это для кого-нибудь, то в редких случаях и в виде исключения. Я в такой атмосфере чувствовал себя неважно, так что, когда весной мне вдруг понадобилось на некоторое время поехать в Вязьму, я это сделал с удовольствием. С таким-же удовольствием я затем продвинулся еще дальше — в Смоленск. Немного я этот город знал. Проездом из Парижа я в нем останавливался, он мне понравился, и мне захотелось побыть в нем опять.

С первых же дней я в Смоленске познакомился с редактором местной газеты, некиим Гуревичем,

которого за крамольный дух выслали из Петербурга под надзор смоленской полиции. Человек он был очень симпатичный, душевный и враждебно настроенный против всяких угнетателей.

Через некоторое время он мне сообщил, что проживающий под Смоленском помещик Михайловский, (кажется, так была его фамилия), большой почитатель шлиссельбуржца Михаила Юрьевича Ашенбренера, который тоже в то время находился в Смоленске под надзором полиции, желает иметь его портрет и просит меня его написать.

Я обрадовался случаю увидеться с человеком, которого прекрасно знал по многочисленным рассказам Морозова и других шлиссельбуржцев, и охотно взялся его писать.

Первые визиты его ко мне были вместе с Гуревичем, но потом он являлся и один и весьма аккуратно. Небольшого роста старичек, в темно-синих очках, мягко произносивший слова, он восхитительно хорошо позировал и без конца много рассказывал о пережитом им за двадцать слишком лет в Шлиссельбургской крепости. Особенно тепло он говорил о Вере Николаевне Фигнер. Я очень жалею, что ничего тогда не записал, а очень стоило: все было в высшей степени интересно и ценно.

В непродолжительном времени, по случаю какой-то исторической годовщины, в Смоленске ожидался царь с царицей и детьми. Город усиленно готовился к приему — производил повсюду ремонт, чистился и вычищался от подозрительных

личностей. Беднягу Гуревича на это время перевели под надзор полиции какого-то другого города. Не видел я больше вскоре и Ашенбренера. Зато мимо моей квартирки в Солдатской Слободке стали ходить то губернатор Суковкин, то жандармский ротмистр Плетнев, то еще какие-то неведомые мне суб'екты, должно-быть, переодетые жандармы или просто шпики. Наконец, ко мне заявилась жена Плетнева и заказала свой портрет. Тогда мне невдомек было — в чем дело, но когда я по ее «совету» покинул на время приезда царя Смоленск, я понял, как ловко меня при содействии женщины выслали из города.

Сначала я хотел было поехать в Петербург, но, вспомнив, что мне много интересного рассказывали про Ригу, отправился туда, тем более, что в середине лета ехать в Петербург было рано.

В Риге я встретился с Клевером. Художник был полон сил и энергии и привлекал к себе живостью своей жизнерадостной кипучей натуры. Его приятно было навещать во время работы, которая у него одинаково спорилась, был ли кто у него под рукой или он писал один. Пейзажи его росли на полотне так же свободно (и так же красиво), как и в самой природе, и так же быстро находили себе приобретателей. Заработок Клевера был не мал.

Балтийские немцы и латыши меня тоже засыпали заказами, — этому очень способствовал Клевер. И я в Риге застрял больше, чем на год.

МИНИСТР МАКЛАКОВ.

Втечение этого года, мой знакомый по Полтаве, бывший председатель полтавской казенной палаты, а потом черниговский губернатор, Николай Алексеевич Маклаков (женатый на родной внучке сестры Льва Николаевича Толстого), получил назначение на пост министра внутренних дел. Списавшись с ним, я поехал к нему в Петербург изображать его на портрете. Как раз это было, когда Николай Второй гостил в Германии у кайзера Вильгельма, недели за полторы до празднования трехсотлетия дома Романовых. В разговоре о них Маклаков мне сказал:

— Наиболее интересно будут проходить торжества в Костроме. Вам любопытно было бы на них посмотреть.

— А вы мне это устройте, — ухватился я.

— Я так и думаю.

С этими словами Маклаков протянул руку к телефону и позвонил, — не помню сейчас — к кому: не то к Бенкендорфу, не то к Фредериксу, о том,

чтобы включить меня в число лиц, едущих на торжества.

В это время доложили о приезде товарища министра внутренних дел генерала Джунковского, только-что вернувшегося с государем из-за границы.

— Вот и хорошо! — воскликнул мне Маклаков. — Сегодня на докладе и про вас скажу.

Джунковский очень оживленно и с восхищением рассказывал Маклакову о подробностях поездки государя в Германию, о том, какой там был великолепный прием, и какое он доставил государю и всем, с ним ездившим, удовольствие...

На другой день, утром, во время завтрака (нас за столом сидело всего шесть человек: Маклаков, его жена, детишки—двое сыновей в возрасте лет десяти-двенадцати, князь Оболенский и я), в самом разгаре оживленного разговора о предстоящих в Костроме торжествах старший сынишка Маклакова пошутил:

— А что, папа, если у тебя в Костроме, на торжествах, когда ты будешь ехать за государем, лопнет в автомобиле шина?

— Дурак!—засмеялся на это Маклаков.

Мальчуган злорадно ему подмигнул. Получилось комично.

Дня два или три спустя, мы с Маклаковым поехали в Москву, чтобы отправиться потом в Ниж-

ний-Новгород, откуда должна была совершиться поездка Романовых на пароходах до Костромы.

Выехали мы из Петербурга ночью. Министерский вагон находился в конце поезда. Вскоре мы расположились спать: Маклаков в специальном отделении, а я в салоне. Спал я, однако мало, часа три, четыре, не больше. Когда открыл глаза, за окном уже было светло. Я раздвинул занавески. Мимо стали мелькать станции; при чем на тех, где поезд делал остановки, вдоль министерского вагона вытягивались в струнку, держа руку под козырек, местные жандармы, а в Твери даже и жандармский полковник или генерал оказался. Они все таращили на меня глаза, что, мол, за особа, и весьма почтительно мне козыряли, я же в ответ им с напускной важностью еле кивал головой.

В Москве, выйдя из вагона, я столкнулся с приехавшим этим же поездом Милюковым и сообщил ему, с кем и в каком вагоне я прибыл. Милюков на это, я заметил, немного поморщился.

Но это все пустяки в сравнении с тем, что происходило несколько дней спустя в Костроме.

ЦАРСКИЕ ТОРЖЕСТВА.

Майское утро было ясное и тихое, когда царский пароходик «Межень», предшествуемый громадным великокняжеским пароходом «Тургенев», миновав город и городскую пристань, с величественным спокойствием плавно подошел к специально устроенной на дни торжеств временной пристани, где уже в стороне стоял прибывший ранее министерских пароход.

От пристани до самого верха, где ждали автомобили и тройки лошадей, широкой полосой лежало по ступеням красное сукно. И отсюда, вдоль всей дороги до самого Ипатьевского монастыря, где должны были начаться торжества, беспрерывной шеренгой тянулась цепь солдат.

Я явился к воротам монастыря раньше прибытия царя, с расчетом увидеть его вступление в монастырь. Там уже группировались кое-кто из придворных, в том числе начальник дворцовой охраны, обер-прокурор синода Саблер и граф Александр Дмитриевич Шереметьев.

— В эти самые ворота,—сообщил мне граф,— триста лет тому назад стучался сын Ивана Сусанина.

Они были открыты, и из них то-и-дело выглядывало монашество, главным образом, игумен, горя нетерпением скорей встретить царствующий дом.

Наконец, весь царствующий дом, во главе с царем и царицей, с наследником на руках рослого бородатого офицера в светло-малиновой рубахе, с группой царевен, красиво одетых в белые платья, с большими белыми страусовыми шляпами на головах, с великими князьями и великими княгинями, сопровождаемый высшими придворными чинами, прибыл от пристани на тройках и автомобилях и, сойдя у монастыря наземь, двинулся в ворота. Мы с Шереметьевым влились в него в самом начале.

Встреченные монастырским духовенством с крестами и хоругвями, под звон колоколов, все мы прошли за царской четой в собор, где уже торжественно совершалось положенное на этот случай богослужение. Царь и царица с наследником и царевнами встали против царских врат, а все остальные разместились позади их.

Во время богослужения, которое мне показалось очень долгим, я несколько раз выходил в притвор и с интересом рассматривал фресковую живопись на стенах (к сожалению, усердно к празднествам прописанную сверху заново и потому утратившую ценность подлинной старины). Выходил туда же и Маклаков, и мы с ним рассматривали

стены вместе. Он вполне был со мной согласен, что те, кто допустил прописку фресок, невежественно переусердствовал, вроде той угличской попадьи, которая к прибытию в Углич какого-то царя, кажется, Александра Второго, из большого усердия и желания сделать хорошо, чисто вымыла хранившуюся в церкви окровавленную рубашку убитого царевича Дмитрия.

По окончании богослужения, царь и все остальные двинулись к выходу. В притворе к этому времени выстроились в ряд, облаченные в темно-синие, обшитые позументом кафтаны, многочисленные потомки Сусанина. Царь около них задержался и вступил с ними в разговор. Длилось это, впрочем, минут пять-шесть, не больше. Затем все направились в дом бояр Романовых.

Описывать дальнейшие торжества — длинная история. Они были очень пышные, парадные и вызывали громадный энтузиазм у соответственно настроенного населения. К концу третьего дня я уже почувствовал большую усталость от них и очень обрадовался, когда узнал от Маклакова, что могу поехать в Ярославль на отправлявшемся туда каком-то пароходе, который шел на несколько часов раньше царского. Я с наслаждением за это ухватился,—и Маклаков тотчас же телеграфировал Ярославскому губернатору, чтобы мне было приготовлено помещение.

Этим же пароходом, оказалось, ехала в Ярославль и, приглашенная на торжества, артистка Мариинского театра Збруева, которая в свое время изумительно хорошо пела Ваню Сусанина.

Из Ярославля торжества перекинулись в Ростов и закончились в Москве.

Вернувшись в Ригу, я опять взялся за портреты немцев и латышей, при чем часть лета провел на взморье в Бильдерлингсгофе, где и Клевер благодушествовал.

Наконец, мне надоело, как говорится, лопатой загребать в Риге золото, и я переехал в Вильно, затем в Либаву, Митаву и, наконец, в Киев. На это у меня ушло месяцев восемь, так как в каждом городе меня задерживало такое обилие заказчиков, что я еле успевал их удовлетворять.

Затем, я весной опять поехал в Ригу и пробыл в ней до середины лета, как раз до того времени, когда вспыхнула русско-германская война, и из Риги вдруг заторопились врассыпную разные люди.

Волна этого движения и меня захватила, но откинула недалеко—всего только в Минск и на весьма короткий срок, что-то недели на две или на три, кажется.

Из Минска я переехал в Витебск и задержался в нем на целую зиму, до самой весны.

В течение этого времени я пробыл в Петербурге и написал портрет графа Витте. Поехал, в сущности, писать портрет великого князя Константина Константиновича, с которым по этому поводу предварительно списался,—я был с ним знаком,—но у него в это время был убит на войне сын, и я решил явиться к нему, когда острота его родительского горя несколько уменьшится. Взамен я созвонился по телефону с графом Витте. Сергей Юльевич согласился позировать почти сразу и безоговорочно.

Этот крупный государственный муж был еще бодр, полон сил и далек от того, что его постигнет через месяц. Единственное, что в нем портило впечатление совершенно здорового и несокрушимого человека, это—некоторая досадная его глуховатость, вследствие которой он, говоря что-нибудь, то-и-дело спрашивал: «как?»

— Я не понимаю Николая,—от него только и слышно: «англичанин—жид, англичанин—жид...» Как? А меж тем он с Англией ведет дружбу. Даю вам голову на отсечение, что не дальше, как через десять лет мы с Англией будем воевать. Как?

Это он говорил мне во время завтрака, на котором присутствовали князь Шервашидзе и—не то Василий Маклаков (брат министра), не то Борис Глинский (из «Исторического Вестника»)—хорошо не помню, кто из них.

Многое из того, что он мне говорил во время наших сеансов в его особняке на Каменноостровском проспекте, оказалось потом в его мемуарах.

Через месяц Витте не стало: он умер от какого-то злокачественного процесса в ухе.

Несмотря, однако, на мое знакомство с министрами, на участие в царских торжествах, в тот самый момент, когда я вернулся в Витебск и прибыл с вокзала в свою квартиру, к ней подлетел отряд полиции и каких-то «штатских» людей и, не дав мне даже раздеться, произвел у меня в моей квартире самый тщательный обыск, при чем, конечно, ни при мне, ни в моей квартире ничего интересного для них не оказалось. Взяли, было, часть моей переписки, но и ту через несколько дней вернули.

Местным властям, очевидно, мое пребывание в Витебске показалось подозрительным, тем более, что он лежал на пути в царскую ставку.

— Художник с такими связями не станет жить без особой надобности в таком городе, где нет для него ничего интересного. Тут что-нибудь не так,— думалось им.

Убедившись, однако, что в этом пребывании ничего опасного для государственного или общественного спокойствия не скрывалось, они оставили меня в покое, и у меня уже в скором времени позировали и губернатор Арцимович, и вице-губер-

натор барон Розен, и член государственного совета Офросимов, и прочие видные люди города.

Офросимов даже соблазнил меня поехать к нему в имение на дачу, чтобы там написать его жену и дочь и пожить у него на даче.

Война в это время шла полным темпом. Тысячи раненых прибывали и прибывали в Витебск. Другие тысячи проезжали мимо, туда, где еще можно было найти для них место: в Витебске его уже не хватало.

На даче этого не было. Имение Офросимова лежало в Псковской губернии, верстах в двадцати от железной дороги, и жить там было спокойно.

Я пользовался этим спокойствием месяца два, пока вдруг не налетела весть, что немцы прорвали фронт и двигаются на Псков. Имение Офросимовых как раз было на пути. Не долго думая, мы—я и Офросимовы—наскоро собрались и кинулись в Москву. В Петербург ехать побоялись. Полагали в страхе, что немцы могут его взять.

Однако, немцы даже и до покинутых нами мест не дошли. Мы напрасно лишили себя удовольствия побыть на лоне природы до конца лета. Но делать было нечего: выехали, назад не возвращаться. Офросимовы поехали в Царское Село, где у них была квартира, а я вздумал перекинуться в Ярославль, где, мне казалось, можно будет пожить по окончании войны более или менее спокойно и с некоторым удовольствием.

К сожалению, жизнь в Ярославле оказалась далеко не такой, как я ее себе представлял издали. Во-первых, в нем нельзя было найти свободной квартиры—все дома были переполнены своим собственным населением, а во-вторых—среди этого населения не оказалось людей в истинном значении этого слова. Весь город кишел одними только обывателями, одними только мещанами, занятыми лишь личными интересами и личным благополучием, которого, впрочем, никто из них в желательной мере, кажется, и не знал. Все были в состоянии томительного ожидания: кончится, мол, война, все успокоится, и тогда можно будет жить, как следует.

КАНУН РЕВОЛЮЦИИ.

В такой обстановке время у меня шло ужасно тоскливо и медленно. Я стал томиться иногда до отчаяния. Случались промежутки, когда готов был переехать в какой угодно другой город, лишь бы не оставаться более в опротивевшей атмосфере Ярославля.

Вдруг до меня дошло, что в Ярославль приехал писатель Амфитеатров. Позвонил сейчас же в редакцию местной газеты—правда ли? ответили: правда, второй день уже сидит в гостинице «Бристоль». Немедленно позвонил туда,—Амфитеатров оказался там. Попросил его к телефону. Позвал к себе. Через час он был у меня и рассказывал, что сменивший Маклакова Протопопов выслал его из «хладного Петербурга в прохладный Иркутск», и что в Ярославле, где ему надлежало сесть в сибирский поезд, он почувствовал себя «нездоровым» и попросил губернатора разрешить ему немного задержаться. Губернатор дал ему три дня.

— Подождите,—об'явил я ему.—Сегодня же я побываю у губернатора и попрошу его разрешить

вам остаться в Ярославле еще дней пять, чтобы дать мне возможность написать с вас для своей писательской галлереи портрет. Может-быть, он уступит. А чтобы это было основательно, садитесь сейчас же позировать.

Амфитеатрову это понравилось, и мы немедленно приступили к работе.

Губернатора, однако, мне в этот день увидеть не удалось: он, говорили, все время летал по городу по каким-то экстренным заседаниям и совещаниям. Тоже было и на другой день, когда у Амфитеатрова кончался разрешенный губернатором срок. Но в этот ден Амфитеатров пришел с вестью, что жена ему прислала загадочную телеграмму: «Погоди сдавать в стирку белье: у нас в Петербурге перемены».

А на другой день пришли сведения о падении самодержавия и об отречении Николая.

РЕВОЛЮЦИЯ.

Обыватели в Ярославле зашевелились. С заводов и фабрик вылились потоком и потекли по улицам с красными флагами и революционными песнями люди, которые до сих пор не смели этого делать. Верхом на лошади бравый генерал, командир местной бригады, раз'езжал по главным улицам и при встрече с манифестациями брал под козырек. Ему кричали «ура!» В манифестациях принимали участие и войска.

Заговорили вскоре о Керенском, Милюкове, Пешехонове и т. д., и понемногу уже готовы были принять новый порядок вещей за должный, как вдруг, в октябре, разнеслось, что власть из рук этих лиц перешла к большевикам, и по устам людей пошли имена: Ленин, Троцкий, Каменев, Луначарский, Зиновьев, Урицкий, Свердлов... А затем появились и их портреты.

Я сразу ухватился за портрет Ленина и написал его красками. Это—тот, напельбаумовский, на котором Ленин изображен со слегка наклоненной

вперед головой и немного приподнятым плечом. Он оказался чрезвычайно интересным для живописи. Потом мне пришлось повторять его несколько раз: почти все учреждения захотели его иметь.

ВОССТАНИЕ.

Новая жизнь, казалась, нашла свои берега и стала двигаться по руслу надлежащим темпом, как вдруг...

Вспыхнуло восстание.

Оно свалилось, как снег на голову. Совершенно неожиданно для населения.

Я помню его хорошо.

Началось оно в два часа ночи. Я еще не спал и сидел у открытого окна. На улице было тихо и спокойно.

Вдруг, не подалеку от «Парижских Номеров», где я жил, на Власьевской же улице, в сторону станции Всполье, раздались один за другим несколько коротких, сухих выстрелов. Кто-то вскоре, в матросском одеянии, быстро промчался к ним на мотоциклетке. Послышались какие-то голоса; поднялась на несколько минут небольшая суматоха, и затем... все успокоилось и снова в городе стало тихо...

Я вышел на улицу. Мимо торопливо шел со стороны выстрелов какой-то человек. На мой вопрос:

— Что там случилось?

Он еле ответил:

— В пекарне обнаружили воров.

Но на рассвете, часа два спустя, меня, только-что начавшего засыпать, разбудил явственный, отчетливый пушечный выстрел: «бом!» за ним—другой, третий, четвертый... Потом учащенная пальба из ружей... И через пять-шесть минут в городе опять стало тихо, словно бы ничего и не было... зловеще стало тихо.

О том, что было совершено нападение на бывший губернаторский дом, в котором помещался губисполком, мне и в голову не приходило, от таких предположений я был далек.

Когда я, наскоро одевшись, вышел на улицу, там уже было, можно сказать, людно: у домов стояли и разростались группы таких же, как и я, недоумевающих и желающих знать, что случилось, а по тротуарам стремились к центру, повидимому, более нетерпеливые.

Я как-то машинально отделился от своей группы и очутился в числе этих нетерпеливых. Вскоре нам встретился человек, который уже шел оттуда, куда мы стремились.

Он нам сообщил, что какая-то организованная группа противников советской власти совершила нападение на губисполком, убила его председателя Закгейма и еще кого-то, и что остальные представители местной власти неизвестно куда девались, а те, кто теперь захватил их власть в свои руки,

первым делом анулировали все их распоряжения и постановления и расклеили свои.

Тут же, вблизи, я прочел на заборе небольшую шпаргалку, в которой говорилось, что советская власть уже будто бы пала там-то и там-то (перечислялись города) и что в Ярославль идут на подмогу войска, а потому жители города призываются к спокойствию и порядку.

Однако, нас, любопытствующих, какие то военные и похожие на военных, вооруженные револьверами и саблями, не замедлили погнать по домам. Через несколько минут вся Власьевская улица опустела (о других я не знаю, но думаю, что и на них последовало тоже самое) и только там и сям вдоль тротуаров торопливо сновали по одному и по два человека какие-то вооруженные люди. А еще через несколько минут или, может-быть, даже через час послышались отдаленные выстрелы, и тотчас же раздались ответные из города.

* * *

В то время, когда первыми роями со стороны Всполья птичками запели вдоль Власьевской улицы пулеметные и ружейные выстрелы, через дом от «Парижских Номеров», на углу Власьевской и Духовской, открылась продовольственная лавка, к дверям которой давно уже тянулся и рос длинный хвост очереди. Вскоре из этой очереди увели раненную женщину и унесли подстреленного подростка. Затем я видел, как ранила пуля какого-то

мастерового, проходившего по направлению к центру по тротуару противоположной стороны Васильевской. Он не вскрикнул, не сделал никакого резкого движения, а как-то, я сказал бы, смешно присел на корточки, оглянулся и, увидев меня, стал манить меня к себе пальцем. Я, к сожалению, не мог решиться в это время перебежать через улицу, вдоль которой со стороны Всполья буквально лил пулеметный дождь, так как был-бы пронизан пулями с первых же шагов. Но ему другие не замедлили оказать помощь: из-под ворот ближайшего к нему дома выбежали двое каких-то мужчин и быстро увели его под те же ворота. Вслед за этим, около того места, где он был ранен, ударился о тротуарный каменный столбик низом несшийся снаряд и со страшным, злобным треском разорвался. Поднялась пыль, зазвенели стекла, что-то кругом рассыпалось... Я кинулся внутрь дома. И только после этого я осознал, какая началась в городе страшная опасность.

Вскоре пули стали влетать и в окна: очевидно, линия огня от Всполья начала город огибать.

Обитатели верхнего этажа «Номеров» одни за другими кинулись в нижний и в несколько минут заполнили коридоры.

Когда же стрельба увеличилась и сделалась беспрерывной, и когда пули, должно-быть, шрапнельные, стали залетать и в нижний этаж, мы все перебрались еще ниже—в самый подвал: там было безопасней.

Целых шестнадцать суток грохотали, не переставая ни на секунду (буквально: ни на секунду) пушки, броневики, пулеметы и ружья. Город пылал, разрушался...

В одни только наши «Парижские Номера», в дом, сравнительно, совсем небольшой, угодило за это время чуть не тринадцать снарядов, при чем один из них влетел в мою накануне только оставленную комнату и разбил ее в дребезги.

Несмотря, однако, на витавшую над нами опасность быть при малейшем риске убитым или изувеченным, некоторые из нас, которые были посмелее или побезрассуднее, все же рисковали и делали вылазки за водой и продуктами питания для поддержания жизни детей и женщин, а иногда даже и просто, чтобы узнать, что делается на улице и принести оттуда какую-нибудь шпаргалку.

Не могу вспомнить без улыбки, как мы с одним немцем из Риги бегали раз из «Парижских Номеров» на противоположную сторону улицы за водой. И у меня и у него было по два ведра в руках. Туда мы пробежали благополучно и даже с шуточками. Но когда мы на обратном пути очутились с полными ведрами на середине улицы, над нашими головами вдруг запели целые стаи пуль. Мой компаньон, вместо того, чтобы скорее кинуться удирать, от страха потерял способность двигаться и беспомощно присел среди улицы на корточки. И только тогда поднялся и пустился изо всех сил бежать, когда пули уже перестали петь. Зато он

забыл прихватить с собой ведра; за ними другим пришлось бегать.

Интересно, спал ли кто-нибудь в Ярославле втечении этих шестнадцати суток,—думаю, что нет. По крайней мере, я и все в нашем доме—и днем, и ночью, как призраки, устало, бессильно блуждали по подвалу, группировались по его коридорам и шопотом, (когда можно было говорить и громко), осведомлялись один у другого, что происходит на улице, в городе, за городом, и страшно трусили. Одни только дети, пожалуй, спали, хотя и они нередко вздрагивали и просыпались от треска и грохота близко разрывавшихся снарядов и истерических вскрикиваний потерявших всякое самообладание женщин.

Но вот... наконец, под одно утро, как-то почти вдруг стало тихо: прекратилась всякая стрельба... Мы недоверчиво и с недоумением выбрались из своих убежищ и выглянули на улицу: там раз'езжали верхом на лошадях вооруженные люди с красными повязками. Это были красноармейцы.

Оказалось, заварившие всю эту кашу главари «восстания» ночью удрали из города и оставили навербованных себе в подмогу людей на произвол судьбы. Они, вероятно, и раньше это сделали бы, но, очевидно, не было подходящих условий или возможностей. Как только они исчезли, и это обнаружилось, сейчас же на центральной пожарной каланче взвился красный флаг.

Через час мы, оставшиеся в живых, счастливые этим сознанием, оживленно обсуждали сыпавшиеся к нам со всех сторон сведения обо всем, что втечение боя творилось, и были рады, что он, наконец, прекратился.

Но в это время к нам явилось несколько вооруженных красноармейцев и потребовали, чтобы все мужчины, за исключением малолетних, немедленно вышли на улицу и отправились за город к Всполью.

Мы повиновались.

На улице уже тянулись рядами по направлению к Всполью оказавшиеся в городе мужчины. Тут были и рабочие, и священники, и интеллигенты, и те, кого в городе считали буржуями. И у всех у них были усталые, опавшие лица, все еле двигали ногами.

В первые минуты, когда предо мной, вместо длинной Большой Угличской улицы, которая раньше шпалерами своих домов и садов заслоняла соседние улицы, развернулось широкое пространство обгорелых пней от деревьев, построек и печей с высокими дымоходами, я не верил своим глазам: до того оно было не похоже на то, что я когда-либо видел раньше, и казалось какой-то жуткой, фантастической сказкой.

Но на каждом шагу мне попадались следы знакомых зданий, и я видел, что это была печальная действительность, а не сказка.

Вот на углу, слева, обгорелые остатки дома, в котором жили одни мои знакомые; вот лежит ли-

цом вверх мертвый седой старик, которого я не раз в этом районе встречал, в его руках бумажный кулек с рассыпавшейся мукой; вот немного поодаль полуобгорелая молодая женщина с двумя зажаренными детскими трупиками, крепко прижатыми к груди; рядом еще женщина и тоже молодая, а в нескольких шагах от нее, повидимому, совсем еще юный, уткнувшийся лицом в землю гимназист с ружьем в руках.

Дальше—опять трупы, а там—опять... И отовсюду несло запахом горелого мяса... И так всю дорогу, почти до самого Всполья. Без слез нельзя было идти мимо них, а идти пришлось версты четыре.

На Всполье, когда мы пришли, уже оказалась бо̀льшая половина города. Красноармейцы всех сортировали: рабочих устанавливали в одну очередь, интеллигенцию—в другую, духовенство—в третью и т. д. И затем пропускали их через особый кордон, который указывал, куда кому идти: кому в сторону свободных от всяких подозрений, кому в деревянные бараки, в которые направлялись преимущественно интеллигенция и духовенство, а кому и прямо на расстрел.

Когда я проходил мимо кордона, бе́гло меня опросившего и осмотревшего мой паспорт, в сторону свободных от всяких подозрений, неподалеку, у какой то земляной насыпи производился

расстрел тех, против кого были компрометирующие улики или данные.

До самого утра следующего дня мы были без пищи, но едва-ли это кого-нибудь из нас особенно волновало, когда в городе оставались одни женщины и дети, и мы не знали, что с ними там происходит и в каком они положении. Мы были полны всяких предположений — самых жутких, самых крайних.

Утром нас отпустили. Мне удалось уйти раньше всех, и обратно я отправился совсем другой дорогой, чем шел на Всполье, совсем другими улицами и переулками, чтобы видеть, что произошло и там.

Там было то же самое: всюду валялись во всевозможных положениях трупы убитых и задохшихся в огне и дыму людей, бесконечно чернели обгорелые остатки деревянных построек и бесчисленных садов и высились среди них каменные печи с дымоходами. И нигде не было видно ни одного живого существа: ни человека, ни птицы, ни животного.

Совсем, как в страшном заколдованном царстве.

И только ближе к центру, где оставались хотя и изрешетенные снарядами, но еще годные для жилья некоторые каменные дома, стали попадаться люди. Первым был сидевший у раскрытого окна большого каменного дома молодой безусый красноармеец, меланхолически тянувший какую-то невеселую надрывную песню.

НА СОВЕТСКОЙ РАБОТЕ.

После этого надолго пошли в городе разные регистрации, перерегистрации, вылавливавшие противников советской власти и отправка их в Коровники (бывшую каторжную тюрьму на окраине города за впадающей в Волгу рекой Которостью), а некоторых и прямо в «расход».

Победа была на стороне советской власти и по всем ее линиям энергично проводилось укрепление. Нужно было сделать очевидным, что она сильна. И на это не жалели ни средств, ни труда, работали все, не покладая рук.

Я продолжал писать портреты Ленина (других вождей и деятелей революции также, но главный спрос был на Ленина). Вскоре связался с военным комиссариатом. Комиссаром в нем был тогда некий Никитин, по специальности—слесарь, а заведующим агитпросветом—Туртанов, тоже—рабочий.

Никитин предложил мне написать внутри театра, который им был взят для Дома Просвещения, целый ряд большого размера революционных картин и портретов вождей. Я согласился. Об условиях

оплаты мы с ним не говорили: Никитин почему-то обошел их молчанием.

Театр внутри оказался громадным, (речь идет не о Волковском, а о другом), и давно не отапливался; а происходило это уже зимой, в трескучие морозы. Работать нужно было прямо на стенах, стоя на высоких козлах, в нестерпимом холоде, от которого руки все время коченели, и клеевые краски сейчас-же после мазков замерзали прямо под кистью и застывали в горшках; горшки поминутно приходилось подогревать. Трудностей было масса, а помощников—ни одного. Некому было даже кисть снизу подать, если она иной раз выскальзывала из окоченевших пальцев и падала на пол. Оставалось самому лазить за ней. Служитель при театре, положим, был, но он вечно отсутствовал.

Я выполнил эту работу в течение одного месяца и получил за нее немного сахару, соли, крупы, муки, подсолнечного масла, селедок и какие-то незначительные гроши.

Вслед за этим я придумал себе новое дело: я предложил Никитину разрешить мне создать при Доме Просвещения художественную студию для красноармейцев. Никитину это предложение понравилось, и через несколько дней я уже имел от него соответствующее официальное разрешение. Заведующий агитпросветом Туртанов, в ведении которого находился Дом Просвещения, сделался, таким образом, моим начальством.

Немедленно под студию было занято в «Парижских Номерах» оказавшееся свободным и весьма удобным подходящее помещение, и я приступил к его оборудованию. Денежной помощи агитпросвет мне не давал,—еще не было сделано на этот предмет специального ассигнования, а хотелось скорей начать дело, и я расходовал на оборудование: на мольберты, рисовальные доски, табуреты, устройство электрического освещения и т. д.—свои средства. Не мало затратил их потом и на художественные принадлежности: на краски, кисти, бумагу, карандаши. Благодаря этому, я вскоре приступил к комплектованию учеников. Мне сразу же прислали из разных воинских частей губернии несколько десятков рисующих красноармейцев. Я подверг их испытанию и принял почти половину, человек сорок.

Ребята набрались хорошие, за исключением двух-трех, которые потом мутили всех остальных и доставляли мне не мало хлопот и огорчений.

Но не успел я развернуться, как-следует, в студии,—я и тут работал один, без помощников,—как Никитин взвалил на меня новую работу и уже как на военнослужащего—расписывать на станции Урочь, по ту сторону Волги, целый поезд, который должен был отправиться в агитационную поездку.

Тут мне уже пришлось договорить помощников, в числе которых были художник Матвеев, какой-то старичек-живописец и несколько моих студийцев. Матвеев попал ко мне, таким образом.

Когда я открыл студию, вскоре вышел приказ, призывавший в армию возраст, в котором находился и Матвеев. Бедняга в отчаянии прибежал ко мне.

— Что мне делать? Призывают...

— Не хочется в строй? Попросите, чтобы вас откомандировали ко мне в студию,—пригодитесь, как помощник.

Матвеев окончил в Москве Строгановское училище и некоторое время где-то был преподавателем.

— А это меня от строевой службы избавит?

— Как же: все мои студийцы отчислены от своих воинских частей и знают у меня только одни занятия по художеству, да на час куда-то ходят изучать политграмоту.

— Но живут все-таки в казармах?

— Нет, в особом, специально для них устроенном общежитии. И столуются в Кукуевской гостинице.

Матвеева это успокоило.

Проделав все, что полагалось, он вскоре явился ко мне с бумажкой об откомандировании его ко мне в ученики студии. После, однако, оказалось, что он ошибся насчет своего возраста и совершенно напрасно тянул у меня в студии возложенную на него лямку в течение чуть-ли не пяти или шести месяцев.

Так вот с этим художником Матвеевым мы и приступили к расписыванию агит-поезда.

Денег мне и на это не отпустили,—тоже еще не было ассигнования, единственное, что мне давали, так это только подсолнечное масло да мыло,—краски же, кисти и прочее я покупал на свои.

Но главное неудобство было в том, что на Урочь нам приходилось ездить на лошадях, (а иногда, когда на лошадей не было денег, и пешком ходить) через Волгу, по открытому простору, по которому часто разгуливал свирепый ветер и портил нам всякое настроение. С потеплением же,—дело шло к весне,—еще хуже стало: приходилось шлепать добрых верст пять по отчаянной грязи, (даже на Волге ее было много), и страшно уставать.

Работу мы производили в ремонтных мастерских среди визга и грохота машин, гула и лязга железа, в непривычной для нас атмосфере и, сделав свыше двухсот разных изображений, употребили на это два с лишним месяца.

По расчетам самого Никитина нам надлежало получить за эту работу (и на покрытие моих расходов по закупке материалов) по курсу того времени двенадцать тысяч рублей, а по действительной их стоимости, должно-быть, рублей шестьсот или семьсот. Из них значительную часть надлежало уплатить Матвееву, старику-живописцу и ученикам.

Но когда пришло время получать деньги, Никитин и Туртанов мне об'явили, что они сейчас столько не имеют, а немедленно вышлют их из поездки, и взяли у меня для этого расписку в получении от них двенадцати тысяч рублей. Рас-

писку эту я дал им безо всяких колебаний, так как был уверен, что начальство меня не обманет.

К сожалению, мое начальство меня обмануло и не прислало мне ни одной копейки, и мои труды, с трудами моих помощников и наши путешествия по десяти верст в день (туда и обратно) в течении двух месяцев, (мы даже в праздники работали: нас подгоняли), остались неоплаченными, затраченные мной на покупку материалов мои личные трудовые деньги не вернулись.

Не вернулись из поездки и Никитин с Туртановым. Их места заняли другие, а о них пошли нехорошие слухи, о Никитине дошло, что он где-то арестован.

Попробовал было я потом по поводу неполучения денег обратиться в центр, но из центра мне ответили, что мне могут быть возмещены только расходы по материалу, если я представлю на них доказательства. Я махнул на это рукой.

ЛУНАЧАРСКИЙ.

Вскоре в Ярославль приехал в качестве уполномоченного от ВЦИК'а нарком по просвещению Луначарский. Как раз это совпало со временем, когда у нас интенсивность работы в некоторых мощных учреждениях доходила до крайнего своего напряжения.

Луначарский в первый же день своего пребывания в Ярославле ел у меня блины, — тогда они были редкостью и даже лакомством, — смотрел мои работы, портрет Ленина и одобрительно отозвался о его сходстве. При этом Анатолий Васильевич любезно пообещал, как только вернется в Москву, поговорить с Лениным, чтобы можно мне было написать его с натуры.

Затем, через день или два, он поехал в Кострому.

Несколько дней спустя, я тоже поехал туда, думал там его написать, но оказалось, что он был перегружен работой и не мог для позирования уделить времени. Тогда я соблазнил его прокатиться по Волге до Плеса. Впрочем, он, кажется, и сам готовился к этому.

По пути мы заехали в Красное Село (пристань—Яковлевская), где на площади Луначарский выступил на митинге с вдохновенной речью. Длиннобородые, кряжистые старики в это время группами сидели на крылечках своих домов и, как волки, смотрели оттуда на ораторствовавшего гостя. Вид у них у всех был весьма неприязненный.

В Красном Селе издавна велось производство ювелирных изделий из серебра и бронзы, имелась даже большая специальная школа по этому производству. Мы ее посетили, обозрели и накупили в ней много интересных, вполне художественно и изящно сделанных вещиц: кулонов, медальонов, цепочек для часов, брошек, ножей для разрезывания бумаги и т. д.

В какой-то зажиточной избе нас накормили довольно обильным и сытным обедом, после которого мы сейчас-же направились на пристань и тронулись дальше.

Через час мы прибыли в Плес.

Красота Плеса, в котором художник Левитан провел несколько лет и где создал находящуюся теперь в Третьяковской галлерее картину «Над вечным покоем», изумительна!

Я Плес знал раньше: я жил в нем на даче в то лето, когда ездил в Ясную Поляну писать Толстого. Луначарский же видел его впервые.

После обеда, которому мы должны были оказать должное внимание и в Плесе, я предложил Луначарскому с'ездить на так называемые Ключи.

Это — очаровательное место в лесу, в котловине, где приютилась небольшая водяная мельница у такой же небольшой реченки, и глядела зорким хозяином жилая постройка. Левитаном эти Ключи увековечены: они тоже находятся в Третьяковской галлерее.

На обратном пути мы ехали с Луначарским в шикарном (для Плеса, конечно) фаэтоне; к нам в лесу вдруг подлетел весь растрепанный, взволнованный, высокого роста, в подряснике священник и, протягивая Луначарскому прошение, торопливо заговорил, что его плесский исполком оштрафовал на сто рублей якобы за непризнание советской власти. Священник просил об отмене этого штрафа.

А в это время, сопутствовавший Луначарскому во всей его поездке кинематографический оператор усердно делал с нас с'емку.

— Как же можно не признавать советской власти? — произнес Луначарский тоном укоризны.

— Да нет, этого не было, — взволновался священник.

Луначарский написал на прошении, чтобы сторублевый штраф снизил наполовину.

Вернувшись в Кострому, мы на другой же день переправились паромом через Волгу и поехали по железной дороге в Ярославль.

На половине дороги, в Нерехте, сделали остановку для митинга, после которого сейчас-же

должны были ехать дальше. Но нерехтяне ни за что не хотели отпустить наркома, не накормив всех нас приготовленным для нас обедом, да еще с мороженным.

Пришлось наш вагон от ожидавшего нас поезда отцепить, так как поезду нельзя было больше ждать, и прицепить к следовавшему часа через два.

Когда же мы этим поездом стали под'езжать к Ярославлю, он вдруг остановился среди поля, не доехав до станции чуть не с версту. Оказалось, что тот поезд, которым мы должны были ехать раньше, потерпел здесь значительное крушение, несомненно кем то подготовленное.

На Луначарского, я видел, это подействовало удручающе, да и на нас не лучше.

В Ярославле Луначарский назначил меня уполномоченным представителем Отдела Изобразительных Искусств.

МОСКВА.

Через год я переселился в Москву и сделался художником Кремля.

В первый же день я познакомился с Михаилом Ивановичем Калининым и вскоре стал писать с него портрет, (который теперь в Музее Революции). Начал у него на дому, а кончил у себя, в своей специальной студии. Рассказывать, какой он человек, вкратце не расскажешь. О нем будет говорить история и скажет, несомненно, очень много. Во всяком случае, это человек недюжинный, и Ленин не без основания выдвинул его на пост всероссийского старосты.

После Калинина ко мне приезжали позировать: Сталин, Дзержинский, Луначарский, Буденный, Семашко, Ногин, Ольминский, Смидович, Сапронов, Муралов и др., и даже Кук — секретарь союза английских горнорабочих, когда был в Москве [1]).

---

[1]) Портреты эти находятся в Музее Революции и в Истпарте, а, портрет Кука—в ЦК союза горнорабочих.

Цена 1 р. 25 к.

СКЛАД ИЗДАНИЯ:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»
МОСКВА, Кузнецкий Мост, 1.

В этой же студии (Балчуг, Ново-Московская гостиница,—в ней раньше много лет под ряд работали художники: Клевер, Коровин, Васнецов), кроме писания вышеперечисленных портретов, велись художниками Архипповым, Куренным и Мешковым, под моим ректорством, занятия учрежденной мною, при содействии Алексея Ивановича Рыкова, Вольной Академии Художеств.

ЛЕНИН.

Писал я портрет и с Ленина.

Впервые надобность увидеть Ленина была у меня еще задолго до революции, когда я работал над своей писательской галлереей. В списке ее были внесены и жившие тогда за границей Плеханов, Крапоткин и Ленин.

— Ради этой тройки, — убеждал меня Венгеров, — стоит на время оторваться от работы в Петербурге и с'ездить за границу.

Но у меня долгое время так складывались дела и обстоятельства, что я никак не мог этого сделать. Я расчитывал с'ездить к ним потом.

Время меж тем шло. Вспыхнула война. Разразилась революция... Произошел октябрьский переворот.

Ленин занял свое место.

Пока не явилась первая серия портретов главных деятелей Октября, я о внешности Ленина никакого представления не имел, даже приблизительного. То, что о нем первое время писали, нисколько не давало его портрета. По некоторым

описаниям он казался громовержцем, сурового вида, по другим—наоборот, вроде самого обыкновенного интеллигента, типа народного учителя. И только когда появился первый его портрет, я увидел его настоящий облик.

Встретившись вскоре по переезде в Москву в фотографии ВЦИК'а (у Напельбаума) со старшей сестрой Ленина — Анной Ильинишной Елизаровой, я поведал ей о своем горячем желании написать портрет Владимира Ильича с натуры. Она отнеслась к этому очень сочувственно и пообещала оказать мне свое содействие. Через некоторое время я увидел у нее на дому целый ряд всевозможных фотографических снимков со всей родословной Ульяновых. Я увидел на них симпатичное, добродушное, чисто русское длиннобородое лицо отца Ленина, также привлекательное, миловидное лицо матери его, и в целом потоке всевозможных изображений и его самого, начиная с шестилетнего возраста и кончая последними годами. И мне чрезвычайно понравился снимок Ленина в шесть лет. Умный, миловидный, но—чувствовалось—бойкий и уже имеющий свое «я».

— Ужасно любил в эти годы разрушать и потрошить всякие игрушки, — вспоминала Анна Ильинишна. — Интересовался, как и из чего они сделаны и что в них внутри.

Когда я опять затронул вопрос о писании Владимира Ильича, она взялась мне в этом помочь.

Начала с того, что передала Ленину написанное у нее же на дому мое письмо, в котором я просил уделить мне всего только три-четыре сеанса по часу или полтора. Но Ленин на этом письме написал отказ.

Прошло несколько месяцев. Как-то Николай Ильич Подвойский (бывший сейчас же после Октябрьского переворота до Троцкого военным комиссаром) дал мне мысль с'ездить в Петроград и написать там в Смольном ту комнату, в которой жил Ленин. Мысль эта мне понравилась и я тотчас же задумал использовать эту комнату для какой-нибудь картины, на которой бы главным лицом фигурировал Ленин.

Вскоре мы с Подвойским уже были в Петрограде, и я писал в Смольном этюды и делал карандашные наброски с комнаты и обстановки Ленина, (один из этих этюдов находится в Музее Революции).

Как только мы вернулись, я сейчас же набросал красками на полотне эскиз: «Троцкий у Ленина в Смольном». Троцкий, взявшись одной рукой за стул, а другой делая обычный свой жест ладонью вниз, стоит у письменного стола спиной к нему и лицом к шагающему перед ним взад и вперед Ленину и о чем-то ему говорит. Ленин вдруг приостанавливается, руки его у груди, пальцы энергично заложены в подмышки жилета (обычный жест Ленина, когда он взволнован). На подвижном,

слегка вскинутом лице его — известное «ильичевское» выражение, левый глаз немного прищурен, над правым вскинута бровь... Вот-вот вождь революции разразится возражениями.

Вскоре я показал этот эскиз Калинину и Енукидзе, и первое впечатление их было: «что они— драться собираются, что-ли?»

Одновременно с этим я написал портрет Ленина в шестилетнем возрасте (с маленькой карточки, которую мне дала Анна Ильинична и которая во время изготовления с нее увеличения оказалась непоправимо испорченной в фотографии ВЦИК'а).

В день третьей годовщины Октябрьской Революции я показал этот портрет собравшимся в Кремле в совнаркомовской столовой для вечера воспоминаний участникам Октября, осведомив их, что хотел бы подарить его в память третьей годовщины самому изображенному.

Долго там обсуждали, как и с чьей помощью это сделать. Я попросил было Троцкого, но он в это время спешил к себе. Наконец, Анна Ильинична взялась пойти со мной на квартиру Ленина и устроить мне с ним свидание. Мы сейчас же отправились. Однако, Ленина дома не оказалось: он был где-то на митинге и не скоро ожидался обратно. Оставили портрет Надежде Константиновне и просили ее передать подарок по назначению, как только Владимир Ильич вернется. (Теперь этот портрет — имитация живописи семидесятых

годов — находится в Музее Революции и с него в бесчисленном количестве распространены всевозможные репродукции, без указания, впрочем, моего авторства).

Нсколько дней спустя, я показал младшей сестре Ленина — Марии Ильиничне своего «Троцкого у Ленина в Смольном» и рассказал ей о неудачных попытках добиться у Владимира Ильича согласия на позирование. Мария Ильинична взялась устроить мне с ним свидание, полагая, вероятно, что он, в конце-концов, все-таки согласится уделить мне немного времени, если не для портрета, то хоть для картины, что в сущности для меня было одно и то же.

Но когда мы с ней (и с эскизом также) отправились из редакции «Правды», где она секретарствовала и где мы с ней сговаривались, в Кремль, Ленина дома снова не оказалось. Была только Надежда Константиновна с какими-то двумя посетителями.

И Надежда Константиновна и Марья Ильинична предложили мне Владимира Ильича дождаться. Угостили чаем, показали все, какие только у них были снимки с Владимира Ильича и много кое-чего рассказали.

Через день мне сообщил комендант Кремля— Петерсон, что меня ищут, звонили в комендатуру, из комендатуры в разные места. Я немедленно отправился к Марии Ильиничне и узнал от нее,

что Владимир Ильич, наконец, желает меня видеть. Мы условились, что в тот же день, ровно в шесть часов я буду у них на квартире.

Едва я — ровно в шесть часов — поднялся наверх белого здания в Кремле, прошел все пикеты и очутился в коридоре, ведущем в комнаты Ленина, как оттуда из открывшейся двери вышел бодрый, среднего роста, в коричневом пиджачном костюме, слегка подавшийся вперед Ленин. В руках у него развевались по воздуху какие-то бумаги. Я пошел к нему навстречу. Не доходя до меня несколько шагов, Ленин их замедлил, вскинул на меня исподлобья глаза, приветливо улыбнулся, и, словно старый знакомый, пожал мне руку.

— Мне ваша картина нравится, и я вам охотно для нее попозирую,—сказал он, искоса на меня поглядывая.

Что-то он и еще говорил по поводу картины, но моя память, к сожалению, всего не удержала.

Разговаривая, мы прошли через секретариат и вошли в кабинет, на столе которого кипами лежали бумаги, теснились телефоны и высилась под зеленым абажуром электрическая лампа (не та, что теперь стоит, а другая: она у меня изображена на этюде). Я обратил внимание, что телефоны сигнализировали не трезвоном, который, обыкновенно, при вдумчивой серьезной работе нередко пугает и вызывает раздражение, а вспыхивали при вызове лампочки.

Вскоре Ленину о ком-то доложили, (я не расслышал), и к нам вошли, как я потом узнал, Рудзутак и Преображенский. Тут же одна из секретарш сообщила Ленину, что пришли электромонтеры чинить в кабинете телефоны.

Ленин поднялся из-за стола, осведомился у вошедших электромонтеров, долго ли они будут чинить, и пригласил нас, то-есть—меня, Рудзутака и Преображенского — пойти с ним в другую комнату. Мы — один за другим, предводимые Лениным, пошли по коридору и очутились в большой просторной комнате. Помню: когда мы в нее вошли, там за большим столом сидела какая-то девица и на вопрос Ленина, чья это комната, сказала, что это кабинет Горбунова[1]). Ленин ей сообщил, что на полчаса он этот кабинет займет. Девица тотчас же поспешила его покинуть. Я едва успел попросить у нее бумаги и карандаш. Не предполагая, что мне сразу же придется Ленина рисовать, я пришел без рисовальных принадлежностей.

Когда Ленин уселся, предупредив Рудзутака и Преображенского, что мое присутствие их не стеснит, я расположился против Ленина и принялся делать с него наброски. В заключение я сделал один набросок и со всей группы (он потом был воспроизведен в «Красной Ниве».

По возвращении в кабинет, мы с Лениным еще некоторое время были в нем и условились начать

---

[1]) Управляющий делами Совнаркома.

наш первый сеанс в следующий же день в десять часов утра.

И вот, на следующий день, ровно в десять часов утра, — это было в ноябре 1921 года, — я явился в кабинет Ленина со складным мольбертом, с полотном и красками.

Ленин был уже за работой и поздоровался со мной, почти не отрываясь от бумаг. Тем не менее, пока я устанавливал мольберт, накладывал на палитру краски, он время от времени перекидывался со мной отрывочными фразами, задавая больше вопросы. Когда же я приготовился и произнес: «Я уже могу начать», — Ленин оторвался от бумаг, положил на стол перо и спросил, где и как ему сесть. Я выбрал ему место и указал позу. И мы тотчас же начали наш сеанс.

Почти в самом начале, доложили о Цурюпе, с которым я уже познакомился в лифте, когда поднимался к Ленину. Там он был в овчинном дубленом тулупе, а вошел в серой пиджачной паре. Ленин вернулся для него к столу. Затем зашел Свидерский.

Ленин с обоими вместе вел беседу.

Когда они ушли, потянулись новые посетители, были даже какие-то иностранцы, с которыми Ленин довольно свободно говорил на их языке.

Все время в кабинете Ленина стояла атмосфера необычайного почтения к нему: ни одного лишнего движения со стороны посетителей, ни одного лиш-

него слова, ни одного повышенного звука. Слышно было больше самого Ленина.

В начале сеанса мы с Лениным условились, что он сядет сбоку стола, поближе к окнам, то-есть,— к освещению и ко мне, а для посетителей поставит кресло между мной и собой, с таким расчетом, чтобы я, когда он будет с ними разговаривать, мог его писать при нужном мне повороте. Для некоторых посетителей, в особенности, когда нужно было что-нибудь писать, Ленин оставлял позирование и возвращался к столу.

В этот день я писал Ленина чуть ли не с половины одиннадцатого и до четырех часов, наблюдая и изучая его необыкновенное, подвижное и богатое самой разнообразной мимикой лицо.

В промежутках, когда никого не было, и когда он отрывался от своей работы и перебирал на столе бумаги, мы говорили с ним о разных житейских делах, о литературе, о моей писательской галлерее, о живописи, о Париже и о Петрограде. Политики почти не касались. Я не люблю, когда со мной заводят речь о живописи потому только, что я ею занимаюсь, словно обо всем остальном я уже и говорить не могу. Думаю, что так же неприятно было бы и Ленину, если бы я говорил с ним о политике потому только, что он занял в ней такое исключительное положение.

Ленин охотно и интересно говорил обо всем. Когда же я заговорил с ним об одном шумливом

поэте, которого иные считают талантливым, Ленин отмахнулся рукой и сказал, что, «воспитанный на Некрасове», он таких поэтов не понимает и не признает. Между прочим, я сообщил ему, что когда я начал писать свою галлерею, профессор Венгеров, советовавший мне поехать за границу писать Плеханова, Крапоткина и Ленина, сказал мне в заключение:

— Плеханов, сами знаете, какого значения величина. Крапоткин — стар, не сегодня-завтра умрет, а Ленин не сегодня, завтра выше того и другого поднимется.

Ленин на это пророчество слегка улыбнулся, и его лучезарные морщинки возле глаз еще раз запечатлелись в моей памяти.

Когда мы разговаривали о живописи и художниках, я поинтересовался, много ли художников его изображало.

Ленин отрицательно покачал головой:

— Лепила одна иностранка да делал карандашный набросок один художник вот с такой бородой, — Ленин сделал полукруглое движение рукой от своего подбородка чуть не до пояса.

— Скульптор Андреев? — подсказал я.

— Да, да, он самый.

— И больше никто?

— Нет, еще этот, что баб писал... Малявин. Но он нарисовал совсем крохотный, минутный профиль и вовсе на меня не похожий.

Следующий наш сеанс должен был состояться на другой день с двенадцати часов. Однако, когда я на другой день к двенадцати часам уже был у квартиры Ленина, мне встретился только что посетивший его Свидерский и сообщил, что Ленин собирается на какое-то заседание. Не проверив, так ли это в действительности и, если это было так, то, может-быть, Ленин собирался не на долго, я вернулся домой.

Недели две спустя, зайдя к Ленину за своим эскизом, я узнал, что он меня в назначенное им время ждал. Тем не менее, в силу разных обстоятельств, кончить портрет мне не пришлось: он остался у меня лишь как этюд.

Потом Ленин уехал в Горки... а потом наступила его болезнь.

Впрочем, до его переселения в Горки, я его еще раз зарисовывал на IX С'езде Советов, когда он выступал с речью.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	стр.
Первые шаги дома и из дому	3
У профессора Ге	16
Поездки в Киев	30
Рисовальная школа Мурашко	39
Стихи и житейская проза	44
Путешествие	49
Губернатор Анастасьев	55
Заказчики	58
В Академии художеств	69
Куинджи	71
Репин	73
Григорович	75
Айвазовский	78
Мясоедов	81
1905 – 1906 г.г.	90
В Париже	96
В Петербурге	101
Галлерея писательских портретов	103
Фофанов	106
Три дня у Толстого	112
Остальные писатели	141
Министр Маклаков	154
Царские торжества	157

стр.
Канун революции 165
Революция 167
Восстание 169
На советской работе 178
Луначарский 184
Москва 188
Ленин 190

МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ

Адрес редакции:

Москва, Б. Полянка, 12, кв. 1. Телеф. 85—51.

1. *Н. Афромеев.* Беспокойные. Рассказы Стр. 180. Ц. 1 р. 20.
2. *В. Вересаев.* На повороте. Повесть. Стр. 170. Ц. 1 р. 10 к.
3. *Его же.* К жизни. Повесть. Стр. 170. Ц. 1 р. 10 к.
4. *Е. Викторова.* Сенька Беленький. Повесть. Стр. 199. Ц. 1 р. 25 к.
5. *М. Волков.* Байки Антропа. Рассказы. Стр. 199. Ц. 1 р. 25 к.
6. *Т. Дмитриев.* Зеленая зыбь. Роман. Стр. 285. Ц. 2 р.
7. *Его же.* Пути-дорожки. Рассказы. Стр. 160. Ц. 1 р.
8. *П. Дорохов.* Фронт учительницы Перепелкиной. Повесть. Стр. 195. Ц. 1 р. 25 к
9. *Его же.* Колчаковщина. Роман-хроника. Изд. 4-е. Стр. 269. Ц. 2 р. 25 к.
10. *И. Евдокимов.* Овраги. Рассказы. Ц. 1 р.
11. *Ф. Каманин.* Ивановская мельница. Роман. Стр. 187. Ц. 1 р. 50 к.
12. *Н. Каринцев.* Новоселы. Стр. 236. Ц. 1 р. 60 к.
13. *Ив. Касаткин.* Лесная быль. Рассказы. Стр. 253. Ц. 2 р.
14. *А. Костерин.* Морское сердце. Рассказы. Стр. 199. Ц. 1 р. 25 к.
15. *Д. Крутиков.* Целина. Повесть Стр. 192. Цена 1 р. 25 к.
16. *К. Лаврова.* Дьойник. Стихи. Стр. 70. Ц. 80 к.

МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ

Адрес редакции:

Москва, Б. Полянка, 12, кв. 1. Телеф. 85—51.

17. *Вл. Лазарев.* Крепкий сон. Рассказы. Стр. 128. Ц. 80 к.
18. *Н. Ловцов.* За яблоновым хребтом. Рассказы. Стр. 160. Ц. 1 р. 25 к.
19. *И. Лукашин.* Пыльные. Рассказы. Стр. 168. Ц. 1 р. 20 коп.
20. *Ив. Майоров.* Два берега. Повесть. Стр. 192. Ц. 1 р. 25 к.
21. *О. Миртов.* Помещики. Роман. Стр. 198. Ц. 1 р. 25 к.
22. *Н. Никандр.* Путь к женщине. Стр. 256. Ц. 1 р. 75 к.
23. *Новокшенов.* Великий Аным. Рассказы. Стр. 192. Ц. 1 р. 25 к.
24. *Павел Низовой.* Крыло птицы. Рассказы. Стр. 256. Ц. 1 р. 50 к.
25. *В. Пушков.* Без компаса. Рассказы. Стр. 194. Ц. 1 р. 25 коп.
26. *Вс. Рязанцев.* Слепцы. Повесть в 3-х частях. Стр. 192. Ц. 1 р. 50 к.
27. *М. Сивачев.* Бунт. Рассказы. Стр. 197. Ц. 1 р. 25 к.
28. *Его же.* Федор Быльников. Повесть. Стр. 160. Ц. 1 р. 10 к.
29. *Н. Шад-хан.* Чужеяды. Роман. Стр. 214. Ц. 1 р. 40 к.
30. *К. Шильдкрет.* В землю Ханаанскую. Роман. Стр. 236. Ц. 1 р. 20 к.
31. *Его же.* Скованные годы. Роман. Стр. 224. Ц. 1 р. 40 коп.
32. *Его же.* Мертвая хватка. Повесть. Стр. 182. Ц. 1 р. 40 коп.

HECKMAN
BINDERY INC.
SEP 92
N. MANCHESTER,
INDIANA 46962

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00008184412